

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- [Е. Орлов](#)
 -
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Источники](#)
-

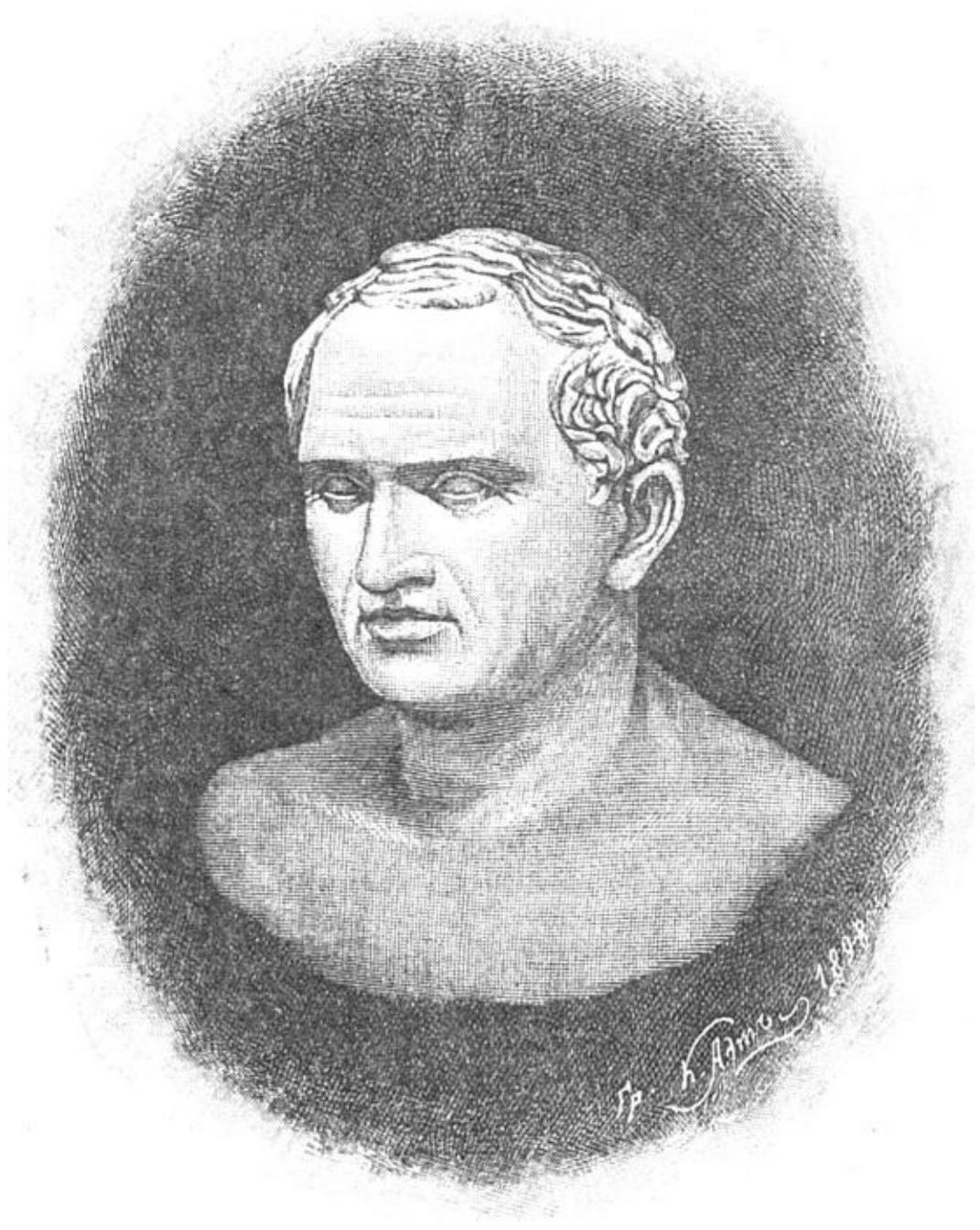
Е. Орлов

Марк Туллий Цицерон

Его жизнь и деятельность

Биографические очерки

*С портретом Цицерона, гравированным в
Петербурге К. Адтом, и другими
иллюстрациями*



Глава I

Наши сведения о Цицероне и разногласия в оценке его личности и деятельности. – Рождение и семья. – Воспитание и образование. – Выступление на публичное поприще. – Оппозиция Сулле. – Поездка в Грецию. – Дружба и переписка с Аттиком. – Его популярность в Риме. – Начало государственной деятельности. – Квесторство в Сицилии. – Верресов процесс: хищническая карьера Верреса, обвинения против него, разбор дела и успех Цицерона. – Verrinae. – Эдильство Цицерона. – Выступление его в качестве политического оратора. – Манилиев закон. – Кандидатура на консульство и измена демократии. – Оппозиция Сервилию Руллу. – Заговор Катилины. – Личность Катилины, его политическая программа, кандидатура и революционные планы. – Оппозиция Цицерона. – Приемы борьбы. – Первая речь против Катилины. – Ошибка Пентулла. – Фиаско заговора. – Популярность Цицерона

Ни с кем из выдающихся личностей древности мы так близко, так часто не знакомы, как с Марком Туллием Цицероном, величайшим римским оратором и писателем. В то время, как значительное большинство первых проходит мимо наших взоров более или менее ясными профилями, обращенными к нам лишь той стороной, на которую пал ревнивый свет истории, образ Цицерона мы в состоянии восстановить во всей яркости и всесторонности живой личности, какую он являлся в действительности, в глазах современников и своих. Этим мы обязаны, помимо многочисленных его речей и сочинений, главным образом дошедшей до нас обширной – свыше 800 писем – переписке его с друзьями, которая по обилию заключающихся в ней данных представляет первоклассный автобиографический документ. Благодаря этой переписке мы знаем Цицерона не только как публичного деятеля – политика, адвоката и писателя, но и как частное лицо – мужа, отца, брата и друга, и мы застаем его не только на ораторской трибуне, где-нибудь в сенате, суде и на форуме, но и в тесном кругу его близких и домашних, в интимной обстановке его дворцов и вилл, погруженным то в профессиональные занятия, то в изучение своих любимых авторов, то, наконец, в хлопоты и дразги будничной жизни. Начиная с 68 года – с того момента, как начинается его переписка – ни одно событие его многосторонней жизни не ускользает от наших взоров: нам известен каждый его шаг, нам знакомо каждое движение

его души, мы знаем все его мечты и опасения, радости и горе. Для нас Цицерон как древний римлянин отступает на задний план; живописно наброшенная тога, величественно протянутая длань и прочие аксессуары классического героя исчезают бесследно, и их место занимает фигура человека, почти столь же близкого к нам по плоти и крови, как если бы он жил многими веками позже.

Но несмотря на это, несмотря на разнообразие и точность имеющихся у нас биографических сведений, личность и деятельность Цицерона являются предметом ожесточенных споров и разногласий для большинства историков и биографов. Одни, а именно немецкая историческая школа с Друманном и Моммзеном во главе, отрицают за Цицероном какие бы то ни было достоинства и заслуги не только в качестве политического деятеля, но и в качестве оратора и писателя: человек без талантов и без убеждений, он был не более, чем “политический флюгер” и “газетный памфлетист”, у которого в распоряжении было несравненно больше слов, нежели идей. Другие же, большей частью французы, возглавляемые Гастоном Буассье, рыцарски поднимают брошенную немцами перчатку и с самоотверженностью, достойной подражания в лучшем деле, стараются защитить Цицерона от нападков его противников: они выдвигают на первый план его симпатичные стороны, оттеняя его добродетели частного лица, и покрывают блистательным лоском его публичную карьеру, оправдывая ее очевидные изъяны “некоторой бесхарактерностью” и сами эти изъяны называя благозвучными именами “заблуждений” и “промахов”. Мы не станем вдаваться в разбирательство этих приговоров и исследование причин их разногласия; мы лишь позволим себе выразить свою солидарность с мнением Моммзена, поскольку оно касается политической деятельности нашего героя, и вместе с тем заявить свое несогласие с тем умалением ораторских талантов Цицерона и его заслуг в философии и литературе, на какое решается знаменитый историк Рима. Наше мнение не эклектическое: мы и не думаем подписываться под дифирамбами, щедрою рукою расточаемыми Буассье и другими; мы лишь считаем приговор Моммзена слишком прямолинейным и желаем воздать *sum cuique*.

Марк Туллий Цицерон родился 3 января 106 года до Р. Х. в наследственном поместье, расположенном неподалеку от небольшого, но живописного городка Арпин. Как известно, из этого же города происходил и знаменитый вождь демократов Марий, и это обстоятельство давало впоследствии повод многим льстецам нашего героя заявлять, что Арпин дал отечеству двух его спасителей. Семья Цицерона была одна из тех здоровых провинциальных семей, которые благодаря своему цепкому

консерватизму, смышленной практичности, терпению и трудолюбию долгое время являлись ядром нации, создав своими руками обширную Римскую республику, сильную устойчивостью и организацией. Это были зажиточные фермеры, которые, хотя и не насчитывали среди своих членов курульных магистратов, пользовались, тем не менее, значительным уважением и влиянием в околотке, имея кое-какие связи даже в самой столице. Предполагают, что один из предков Цицерона был простой крестьянин, занимавшийся огородничеством: отсюда это плебейское прозвище Сисеро – род гороха, – которым так мужественно гордился впоследствии Марк, обещая насмешникам прославить его наравне с аристократическими именами Скавров и Катуллов. Дед его был человеком старого закала, сухим, черствым и крепкоголовым, который ничего так не боялся, как новшества, и особенно косо посматривал на греческие веяния, в ту пору все более и более распространявшиеся в италийской атмосфере. Его опасения, по-видимому, оправдались еще скорее, чем он ожидал, потому что сын его – отец Марка – был человек уже совсем иного покроя: болезненный, тихий и склонный к размышлению, он под влиянием книг и разговоров стал рано тяготиться мелкопоместной жизнью и мечтать если не самому вырваться из нее, то по крайней мере вытащить оттуда своих детей. Его жена Гельвия, родственница Цинны, сочувствовала ему в этом, и когда оба сына их, Марк Туллий и Квинт, достигли школьного возраста, они решили оставить деревню и переселиться в столицу.

Над мыслью и нравами римского общества тогда неограниченно господствовала эллинская культура с ее философией и религией, литературой и искусством. Греческие ученые и риторы были почти единственными учителями молодежи; их аудитории наполнялись цветом патрицианской знати, их язык стал фешенебельным, и среди богатых горожан было немало таких, которые имели подле себя в качестве руководителя какого-нибудь греческого философа. Естественно, что образование, которое получил молодой Цицерон, было эллинское. За исключением одного Кв. Элия, у которого он обучался латинской грамматике, все его учителя, по совету знаменитого оратора А. Красса, были выбираемы из греков: с ними он изучал греческий язык и литературу, математику, риторику и философию. Между прочим, одним из них был поэт Архий, которого он позднее защитил от тяжелого обвинения в произвольном присвоении прав римского гражданства. Учился он, по-видимому, блестяще: его способности, любознательность и знания составили ему такую громкую репутацию среди сверстников, что отцы последних часто приходили в школу посмотреть на феноменального

мальчика и ставили его в пример своим сыновьям. В 91 году, когда ему исполнилось 15 лет и он, по римскому обычаю, получил мужскую тогу, он к своим прежним занятиям прибавил и изучение юриспруденции и родственных ей наук. Он поступил под руководство авгура Кв. Муция Сцеволы и стал усердно посещать форум, прислушиваясь к политическим и судебным речам. Его занятия были прерваны на год военной службой: он участвовал в войне с восставшими марсиями и состоял адъютантом при главнокомандующем Кв. Помпее Страбоне, отце Помпея Великого. Он, однако, не обнаружил ни военных талантов, ни военных доблестей и решил поэтому искать славы на гражданском поприще в занятиях адвокатурой и политикою. Наступившая затем междоусобная война между Марием и Суллою, в которой человеку таких наклонностей, как Цицерон, не было места, дала ему срок для приготовления к своей профессии: в течение шести лет он работал над философией, правами и риторикой, посещая лекции эпикурейца Федра, слушая риторику у знаменитого Молона, но особенно охотно посещая философа Филона, который недавно приехал из Афин, спасаясь от меча Митридата. Этот Филон стоял во главе Новой Академии – той самой, которую основал Карнеад, приехавший в Италию в качестве посла зимою 156 года и удивлявший простодушных римлян своей блестящей диалектикою и умением доказывать тезис и антитезис с одинаковою убедительностью и успехом. По настоянию Катона Старшего, опасавшегося пагубного влияния его искусства на общественную нравственность, его вежливо выпроводили из столицы; но, по-видимому, это искусство пришлось по вкусу значительному большинству, и его преемники встретили лучший прием. К ним стали приходить учиться риторике и диалектике, и к ним пришел наш Цицерон, для которого, как для будущего адвоката, ничто не могло быть полезнее искусства доказывать и отрицать положение с тем же умением. Другим его любимым наставником был стоик Диодот, у которого он обучался логике: с ним он заключил тесную дружбу и позднее даже пригласил его жить у себя в доме, где тот и провел остаток своих дней. Но больше всего, естественно, напирал Цицерон на красноречие: он не упускал ни одного случая послушать выдающегося оратора и сам ежедневно упражнялся в составлении декламаций на различные темы. Он изучал лучшие образчики слога и формы, особенно в греческой литературе, и по много раз переводил отрывки из Гомера, Еврипида, Демосфена, Эсхина и Платона. Он сам сочинил трактат по теории красноречия под заглавием: “De inventione Rhetorica”, и написал даже целую поэму в стихах “Марий”, в которой воспевал подвиги этого народного героя. Сцевола провозгласил ее

бессмертной, но ученый авгур жестоко ошибался: Цицерон был менее всего поэт, и стихи писал он больше ради упражнения в стиле, нежели из вдохновения.

В 27 лет он выступает, наконец, на публичную арену в качестве адвоката по уголовным и гражданским делам. К сожалению, следы его дебютов до нас не дошли: первая из существующих речей его в защиту Квинция по гражданскому иску относится к 81 г., а первая речь по уголовному делу в защиту Секстия Росция Америкского относится к 80 году. Эта последняя, несмотря на свою незрелость, замечательна во многих отношениях. Тогда был один из самых мрачных периодов в римской истории. Приверженцы Мария были уничтожены, и государственную машину республики захватил в свои руки его противник Сулла. Начались аристократическая реакция и террор. Головы демократов катились, как колосья, их имущество конфисковывалось, их имения разорялись, и друзья их либо расселялись по тюрьмам, либо подвергались изгнанию. Шпионы и убийцы, ободряемые надеждою на добычу, расплодились в невероятном количестве; интриги и преступления их доходили до наглости, и лучшие люди, особенно из богатых слоев, падали беззащитными жертвами их корысти и своеволия. Одним из таких людей был старик Росций, отец Секстия, владевший тринадцатью виллами, из которых десять, по показаниям сына, стоили, по крайней мере, 250 талантов (талант – 2400 руб.). Хризогон, клеветник и вольноотпущенник Суллы, наживший на имущественных конфискациях огромное состояние, давно уже зарился на эти поместья и, когда старик был однажды утром найден убитым – по наущению ли Хризогона, или нет, мы не знаем – и его имущество продавалось с молотка, он скупил 10 имений за смешную сумму в 2 тыс. драхм (драхма – 40 коп.). Мало того, чтобы замести следы и вместе с тем отнять у сына убитого возможность оспаривать имущество, он через некоего Эруция, негодяя первой руки, возводит на него обвинение в отцеубийстве. Дело было для всех ясно, как Божий день, но никто не имел смелости взять на себя защиту злополучного Росция и выступить против любимцев всемогущего диктатора. Напрасно молодой Мессана, блестящий представитель блестящего дома, вместе со знатной матроной из рода Метеллов обещали свое покровительство, – ни один выдающийся адвокат не решался заступиться за обвиняемого и рисковать своей шкурою. Тогда предложил свои услуги молодой и неизвестный Цицерон; в речи, полной остроумия и сарказмов по адресу Хризогона, он доказал невиновность Секстия и добился его оправдания.

Это *cause celebre* сразу доставило юному адвокату популярность и

славу. Мужество, с каким он выступил в таком опасном деле, и прозрачные намеки, которые он делал на тиранию диктатора, на бесчестие и хищничество его агентов, на ужасы проскрипций и другие темные стороны тогдашнего режима, приобрели ему широкую известность даже в народных кругах. Правда, Сулла и не думал его трогать: он был слишком велик и тактичен, чтоб замечать нападки незначительного адвоката; но Цицерон все-таки имел основание принимать позу героя и защитника народных интересов. Быть может, он искренне увлекался либеральными веяниями момента, – тогда как раз начиналась тайная реакция против правления диктатора; но, быть может, имел место и простой расчет, побуждавший его стать на ту сторону, куда все более и более склонялась сила. Ему нужно было во что бы то ни стало сделаться популярным и добиться положения и должностей, и, видя грядущее банкротство аристократии, он, естественно, кинулся в объятия демократии. Как бы то ни было, но вплоть до своего консульства он продолжал стоять на стороне народа. В следующем же году после процесса Росция ему вновь пришлось выказать свое гражданское мужество по поводу дела одной уроженки Арреция: жители этого города были лишены Суллою гражданских прав, и женщине этой, имевшей в Риме какую-то тяжбу, в силу этого отказано было в суде. В защиту ее поднялся Цицерон и смело принялся доказывать, что лишение Арреция его прав было актом своевольным, противозаконным, а потому и недействительным. Несмотря на то, что ему приходилось иметь дело с весьма сильным противником в лице знаменитого юриста Котты, он выиграл дело, и клиентка его получила удовлетворение.

Такого рода фрондерство, к тому же, по-видимому, поддерживаемое общественным мнением, было, однако, слишком рискованной игрой, чтобы его можно было долго продолжать безнаказанно: весьма вероятно, что Сулла почувствовал, наконец, некоторое раздражение и дал Цицерону через своих приближенных понять, что ему лучше было бы умолкнуть. Кстати же молодой герой, никогда не отличавшийся крепким сложением, теперь почувствовал переутомление и стал сильно нуждаться в отдыхе. По совету друзей он решил поэтому на некоторое время удалиться с арены и воспользоваться невольным досугом для поправления здоровья и дальнейшего усовершенствования своего ораторского искусства. В 79 году он покидает Италию и в сопровождении брата и некоторых знакомых отправляется в Афины – Париж того времени, центр культуры и науки, занятий и развлечений. Здесь он посещает все исторические места, с которыми связаны те или другие воспоминания, – академические сады Платона, Фалернский берег, где Демосфен некогда упражнял свой голос,

гробницу Перикла, – и слушает лекции по философии и красноречию у лучших афинских преподавателей. Между прочим, он встречается здесь с тем самым Т. Помпонием Аттиком, тогда еще, конечно, молодым юношей, к которому обращена значительная и притом наилучшая часть его переписки: он заключает с ним дружбу, редкую по теплоте и лояльности, и продолжает до самой смерти своей делить с ним наиболее душевные думы и чувства.

Из Афин, прежде чем вернуться на родину, Цицерон поехал в Малую Азию, а оттуда на остров Родос, где, как известно, науки и красноречие культивировались с особым успехом. Здесь знакомится он со стоиком Посидонием, оставившим значительные следы на его философских симпатиях, и берет опять уроки риторики у Аполлония Молона, с которым встречался уже в Риме. По этому поводу Плутарх рассказывает любопытный анекдот: Молон не знал ни слова по-латыни, и, когда Цицерон зашел к нему, попросил его продекламировать что-нибудь по-гречески. Тот исполнил его желание с таким успехом, что присутствующие были поражены и рассыпались в похвалах. Один Молон сидел молча, погруженный в тяжелые думы. Видя беспокойство нового ученика, он, наконец, заметил ему: “Я, конечно, хвалю и удивляюсь тебе, Цицерон, но меня тревожит судьба Греции. У нее ничего больше не осталось, кроме знаний и красноречия, но и те ты увозишь с собою в Рим”. Мы не отважимся поручиться ни за искренность Молона, ни даже за достоверность самого передаваемого события; тем не менее, сам факт высокой образованности Цицерона, которой делается комплимент в этом анекдоте, не подлежит сомнению; он, бесспорно, был одним из самых выдающихся людей того времени по знанию, красноречию и манерам, и неудивительно, что, когда в 77 году, после смерти Суллы, Цицерон вернулся в Рим, ему сразу удалось занять положение в обществе, в котором соперниками ему могли быть только Гортензий и Котта – двое наиболее популярных адвокатов того времени. В следующем же году, когда ему исполнилось 30 лет, все трибы единогласно выбрали его в квесторы – нечто вроде военных интендантов, заведовавших хозяйственной и податной частью провинциальной администрации. Это был первый шаг в его долгой государственной карьере, на которой ему суждено было пожать столько лавров и роз, но вместе с тем встретить и столько терний, – и нужно признать, молодой деятель отличился так, как редко кому удавалось отличаться в эту корыстную эпоху. Жребий доставил ему Западную Сицилию, давнишнюю житницу Рима и столь же давнишнее поприще для вымогательства и хищничества со стороны римских администраторов; но

новый квестор сумел бескорыстным и искусным правлением заставить провинциалов забыть их прежние страдания и примирить противоположные интересы римских публикан и римского сената. Он аккуратно выплачивал солдатам следуемое им жалованье, он мягко и даже великодушно собирал подати, он вовремя доставил в голодающий Рим прибавочное количество хлеба, скупленного по нормальным рыночным ценам, и участливым обхождением с местным населением приобрел среди него такую популярность, что его отъезд по окончании должного года был всеобщим горем. Ему оказали небывалые почести, ему поднесли публичную благодарность, и почетная гвардия из местной аристократии проводила его до самых пределов Сицилии. Можно смело сказать, что год его правления – 75 до Р. Х. – был одним из самых светлых в истории этого злополучного острова, и Цицерон мог по справедливости гордиться своим успехом и своими заслугами.

Если, однако, он думал встретить от своих соотечественников награду за труды, то факты скоро показали ему, что он глубоко ошибался. Высадившись по дороге в Рим на Кампанском берегу и попав в модный курорт Пуццоли, он, уверенный, что глаза сограждан были все время обращены на него, встретил, к своему удивлению, со стороны самых близких ему знакомых полнейшую неосведомленность в его подвигах, совершенное равнодушие к его судьбе и даже незнание того, где и как провел он истекший год. Один думал, что он приехал из Рима, другой – что возвращается из Африки, а третий, узнав от него же, что он был в Сицилии, сердечно поздравил его с успехами... в Сиракузах, главном городе восточной Сицилии! Цицерон был ошеломлен и тут же поклялся никогда больше не покидать Италии: у римского-де народа острое зрение, но тупой слух, и желающий пользоваться плодами трудов своих не должен далеко отходить от него.

События следующих четырех лет его жизни остались нам почти неизвестными; но в 70 году он опять выступает на авансцену – на этот раз с еще большим успехом, нежели прежде: это было по поводу Верресова процесса, одного из самых громких судебных дел древности.

Веррес был бывший правитель Сицилии, на которого разоренные провинциалы принесли жалобу за вымогательство. Без всякого проблеска совести или стыда, но с редким гением по части хищничества, этот человек, принадлежавший к одной из знатнейших фамилий Рима, давно уже славился как безжалостный грабитель и опустошитель провинций. Он столько же отличился своим квесторством в Азии, сколько преторством в Риме, но его аппетиты и таланты особенно развернулись в бытность его

наместником Сицилии. Здесь грабеж его не знал границ: это была целая система, распределенная на три года так, что добыча первого поступала к нему лично, добыча второго шла в карманы друзей и заступников, а добыча третьего предназначалась, на случай процесса, на подкуп преторов, трибунов и консулов. Средства для выполнения этой “программы” у него были разные, но всегда одинаково блестящие. При сдаче, например, хлебных десятин на откуп публиканам, он не только умудрялся заполучить с них двойную сумму против той, которую полагалось отсылать в Рим, но еще при сборе этой десятины получал, в качестве партнера публиканской компании, столько хлеба, что мог отсылать в Италию лишь половину его, оставив другую для себя. Когда же ему приходилось собирать добавочную десятину, за которую государственная казна платила уже по рыночным ценам и высылала для этого огромную сумму в 12 с лишним миллионов сестерциев (сестерций – 10 коп.), он преспокойно клал эти деньги к себе в карман либо отдавал их публиканам в рост по 24 %, получая через вымогательство первой, даровой, десятины столько хлеба, что его хватало и на добавочную, и жертвуя, в случае недостачи, лишь вышеупомянутыми процентами. А то поступал еще проще: нуждаясь, например, однажды в добавочной десятине – несколько миллионов мер, – он вдруг требует вместо натуры денег; но так как рыночная цена была лишь 2 сестерция за меру, то он настаивает и получает по 12 сестерциев, опуская излишек, и 10 сестерциев за меру отправляет к себе в карман.

Конечно, одними хлебными операциями подвиги Верреса не ограничивались: он умел находить и другие средства наживы. Некий Дион, например, получает большое наследство. Узнав об этом, находчивый правитель зовет его к себе и при помощи ложных свидетелей оспаривает у него его права. Напрасно все улики говорят в пользу Диона – ничто не помогает: он должен дать Верресу миллион сестерциев деньгами, массу скота и другого имущества, чтобы замять дело, в котором он был, несомненно, прав. Нечто подобное случилось с двумя братьями из Агирии: 20 лет тому назад они получили наследство, которое теперь вдруг стало оспариваться. Было ясно, как Божий день, что братья правы, но Веррес заставил их дать ему 400 тысяч сестерциев, после чего и постановил решение в их пользу. Но, коротко прибавляет Цицерон, “агирийские братья выиграли процесс так, что вышли из залы суда нищими”.

Подобным хозяйничаньем Веррес за три года разорил Сицилию вконец: вся страна лежала в развалинах, лучшие участки были превращены в пустыню, и население, обнищавшее и одичавшее, ютилось по берегам, имея ни крова, ни пищи. Привычное ко всему сердце римского народа

содрогнулось при виде такого зрелища; тем не менее Верресу, имевшему за собою Метеллов, Сципионов и других патрициев, быть может, удалось бы увернуться, если бы обжаловавшие его сицилийцы не имели на своей стороне все всадническое сословие, которое в лице его представителей, публикан (откупщиков провинциального фиска), своекорыстный правитель эксплуатировал наряду с покоренным населением, и всю демократию, которая теперь, после падения режима Суллы, вступала в новую борьбу с сенатом и аристократией. Шансы Верреса совсем ухудшились, когда защиту сицилийцев взял на себя Цицерон, знавший остров, как никто, и уже пользовавшийся репутацией первоклассного адвоката. Веррес пробовал смести его с дороги, выдвинув своего экс-квестора Кв. Цецилия Нигера в кандидаты на роль защитника обиженной стороны; но Цицерон в сильной речи перед судом разбил вдребезги нигеровы притязания и обосновал свои собственные. Он был формально утвержден адвокатом сицилийцев и, получив 110 дней для сбора материалов, в сопровождении своего дяди Люция отправился в Сицилию. Здесь, несмотря на препятствия, которые претор Метелл ставил на каждом шагу, ему в два месяца удалось исколесить остров вдоль и поперек и собрать такую массу документов и свидетелей, что уже одно появление его в Риме нагнало трепет на всю сенатскую аристократию. Дело стало разбираться 5 августа в первой инстанции, и Цицерон, опасаясь, как бы Веррес не затянул процесса до следующего года, когда все почти магистраты будут на его стороне, решил повести обвинение так, чтобы обвиняемый понял бесполезность дальнейших попыток и сразу же капитулировал. Он выполнил свое намерение с небывалым успехом: вместо всяких речей он в продолжение девяти дней подвергал свидетелей перекрестному допросу, читал документы и письма, отбирал показания компетентных лиц, приводил факты и оказал такое впечатление на судей и публику, собравшуюся со всех концов римского мира, что сам Гортензий, адвокат Верреса, попробовав было говорить, принужден был замолчать. Цель была достигнута: Веррес отказался от дальнейшей борьбы, ушел в изгнание, и имущество его было конфисковано.

Так окончился этот замечательный процесс. Цицерон был на вершине славы и, не довольствуясь одержанною победой, издал все пять речей, которые он намеревался произносить в случае, если бы Веррес довел дело до второй инстанции. По точности и обилию фактов, по неумолимой логике аргументаций и по блестящей риторической форме эти речи, известные под именем *Verrinae*, представляют лучшие образчики ораторского искусства в Риме и гордый памятник красноречия самого

Цицерона.

Следующий год в жизни нашего героя был годом его эдильства. Заведывая общественной тишиною и порядком, равно как и публичными празднествами, эта магистратура была первая из “курульных” магистратур, открывавших двери сената. Цицерон стал членом последнего, получил на тогу широкую пурпурную кайму, занял курульное кресло и приобрел *jus imaginum* – право выставлять в своем атриуме (передней зале) бюсты и маски своих предков и проносить их публично на похоронных процессиях. Он дал в течение этого года три праздника за свой счет и роздал народу хлеб, присланный ему в дар благодарными сицилийцами. Как пункт, весьма характерный для эластичной нравственности нашего оратора, следует отметить, что в этом году он защищал Фонтея, бывшего правителя Трансальпийской Галлии, от тех же и столь же основательных обвинений в вымогательстве, какие он с такою страстью бросал в Верреса!

В 66 году он отправлял должность городского претора, избранный на этот пост единодушными кликами народа. Продолжая с прежним успехом заниматься адвокатурою, он тогда впервые выступил в качестве политического оратора, поддержав предложение Манилия о назначении Помпея диктатором для войны с Митридатом, царем Понтийским. Его речь по этому поводу имела большой успех, а так как Помпей был тогда одним из любимцев демократии, то популярность Цицерона значительно увеличилась, и он мог теперь решиться выступить кандидатом на высшую государственную должность – консульство. Поэтому, отклонив провинцию, которая предлагалась ему по низложению претуры, он 65 и 64 годы проводит как частное лицо, занимаясь подготовлением публики к своей кандидатуре. Тут-то он увидел, что зашел слишком далеко в заигрывании с народом и своим демократическим фрондерством оттолкнул от себя аристократию. По совету своего брата Квинта, чье письмо по этому поводу представляет любопытнейший документ, он усердно принимается за работу среди сенатской знати, раскаянием и лестью склоняя ее на свою сторону. Он пускает в ход всевозможные средства, отправляется к знатнейшим патрициям на ежеутренние поклоны и спешит уверить всех и вся, кто только имел влияние на выборы, что в благонамеренности и патриотизме он не уступит решительно никому. Его взгляды на государство, говорит он, всегда были такими же, как взгляды оптиматов; демократы, в сущности, никогда не пользовались его симпатиями, а если у него иной раз и вырывались речи, которые можно было истолковать в противояристократическом смысле, то они преследовали лишь цель склонить на свою сторону Кв. Помпея... Старания эти увенчались успехом,

давно уже неслыханным в Риме: вместе с Антонием, племянником известного под таким же именем оратора, он вышел победителем из борьбы с пятью другими кандидатами и единогласно был избран в консулы на 63 год.

Это был поворотный пункт в карьере Цицерона: изменив демократическому знамени еще во время соискания голосов, он теперь, по достижении консульства, окончательно складывает его и становится ревностным охранителем существующего строя и “незыблемых основ общества”. Такое неожиданное превращение не должно нас удивлять: по рождению, занятиям и симпатиям он был истый сын коммерческой буржуазии того времени – сословия всадников, а политика этого сословия всегда была оппортунистской: враждуя как с сенатской аристократией, представительницей земельных интересов, так и с демократией, представительницей неимущего пролетариата, оно попеременно соединялось то с одной, то с другой, держа сторону демократии, когда речь шла о захвате административной или судебной машины из рук сената, и переходя обратно к аристократии, когда приходилось защищать собственность от посягательств пролетариев. Цицерон лишь повторял те же метаморфозы: он фигурирует оппонентом сената в эпоху реакции против Суллы и ультрааристократического режима, когда вопрос идет о восстановлении всаднических судов и об отдаче азиатских податей на откуп публиканам, и тотчас же круто переменяет фронт и кидается в объятия своих прежних врагов, лишь только демократия поднимает голову, и в лице, как мы сейчас увидим, Сервилия Рулла и Катилины собирается делать попытки реформ...

Первым его дебютом в роли “охранителя” было уничтожение аграрного законопроекта, внесенного народным трибуном Публием Сервилием Руллом. Это был больной вопрос внутренней политики Рима, одна из попыток аграрной реформы, которых так много было в последние полтора века республики. Имея своей целью восстановление мелкой собственности путем выселения пролетариата в земледельческие колонии, но неизменно сопряженные с закупкой, конфискацией и переделом земель, присвоенных богатыми собственниками, эти попытки постоянно встречали оппозицию со стороны правящих классов и неизменно оканчивались гибелью проектов и их авторов. В частности же Сервилиев закон проектировал назначение на пять лет комиссии из десяти членов с неограниченной властью над всеми материальными средствами государства и с правом продавать и скупать какие угодно земли, проверять притязания настоящих владельцев и выселять колонии куда угодно. Ужас и

сопротивление имущих классов были необыкновенны, и новому консулу ничего не стоило разыграть из себя “патриота”. В речи перед сенатом он ярко расписывает бедствия, которые можно ожидать от приведения проекта в исполнение, и указывает на опасности, которыми он угрожает “добрым нравам, репутации, благополучию и устойчивости” римского государства. Он произносит затем две речи перед народом, в которых выставляет себя его другом, чествует память Гракхов и заявляет свое принципиальное согласие со всякой аграрной реформой, действительно, направленной на благо народа. Но, к сожалению, проект Сервилия идет вразрез с этим благом, так как не только влечет за собою коренное изменение в имущественных отношениях страны, но и фактически упраздняет конституцию, уничтожая права консулов и сената и облакая неограниченной властью десятерых ни перед кем не отвечающих личностей! Цицерон забыл, как он сам недавно еще ратовал за диктатуру Помпея, но невежественный народ поверил его искренности, и Сервилий принужден был взять свой проект обратно.

Но эта блистательная победа была лишь началом ряда других, которые вновь обращенный на путь истины консул одержал над демократией. Самая, однако, главная из них – та, которая навеки прославила Цицерона и его должностной год: это раскрытие и уничтожение заговора Катилины.

Люций Сергий Катилина, человек весьма знатный и талантливый, стоял во главе демократического движения и мечтал, добившись консульства, произвести государственный и экономический переворот. Всякому изучавшему историю последних двух веков римской республики известно, до какого ужасного состояния дошла Италия под управлением олигархии, именуемой сенатом: разоренный бесчисленными войнами, предпринятыми в интересах господствующих сословий, и отрезанный от всех источников пропитания конкуренцией рабского труда, римско-италийский народ превратился в сплошной деревенский и городской пролетариат, который, по словам Тиберия Гракха, не имел угла, куда бы мог преклонить свою усталую голову. Напрасно лучшие люди и патриоты указывали на эти язвы и требовали энергических мер к их излечению: господствующая плутократия упорно отказывалась, отвечая на все проекты и протесты насилием и убийствами. Благоднейшие люди, такие, как Гракхи, Сатурнин и Серторий, сложили свои головы за народное дело, пока не стало ясным, что, прежде чем добиваться реформ, необходимо вырвать власть из рук сената. Катилина это понял лучше, чем кто-либо до него: отсюда все нападки на его личность, которыми кишмя кишат сочинения Цицерона и Саллюстия, наших главных авторитетов. Если верить им,

Катилина был самый испорченный человек своего времени: он убил родного брата, имел кровосмесительную связь со своей дочерью и совершил насилие над весталкою. Конечно, это басни: сам Саллюстий заявляет, что у него нет данных для подтверждения этих обвинений, и Цицерон семь лет спустя признает публично, что Катилина был выдающийся во всех отношениях человек, которого он сам одно время считал прекрасным гражданином. Вероятнее всего, что Катилина в своей молодости вел очень веселую жизнь и, подобно Цезарю и многим другим, нисколько не лучше и не хуже его, проводил время в играх и развлечениях, далеко не невинных ни по средствам, ни по обстановке. Мы даже готовы поверить, что он растратил в бурных кутежах свое большое состояние и погряз в долгах, хотя никак не можем примирить с этим другое заявление наших авторитетов, что при своих выборах он пускал в ход подкуп в широчайших размерах.

Первое появление Катилины на сцену относится к 65 году: он только что вернулся в столицу после наместничества в Африке и готовил свою кандидатуру на консульство. Чтобы помешать ему в этом, аристократическая партия возвела на него обвинение в лихоимстве, после чего он будто бы решил захватить власть насильно, перебив консулов и важнейших сенаторов. Для этого назначено было 1 января 65 года, когда знать и магистратура собирались на Капитолий для торжественных жертвоприношений; но слух об этом проник в публику, и план не удался. Тогда Катилина отложил выполнение его на 5 февраля, но и тут попытка не удалась по его же оплошности.

В правдивости этих рассказов вполне позволительно усомниться уже просто ввиду того, что, несмотря на злодейские умыслы, ни Катилина, ни кто-либо из его друзей не были арестованы или удалены: покусьись они действительно на то, в чем их позднее обвинял Цицерон, сенатская олигархия, столь падкая на репрессии, не оставила бы их в покое, а постаралась бы устранить рукою палача или убийцы. Сам консул Торкват, на чью жизнь Катилина будто бы составил заговор, был и остался его другом, и когда в 64 году над ним состоялся процесс за лихоимство, не задумался вынести ему оправдательный вердикт, тем засвидетельствовав невинность Катилины по обоим обвинениям. Лучшим же доказательством неосновательности последних является поведение самого Цицерона, который конфиденциально предложил себя Катилине в адвокаты по африканскому делу. Очевидно, обвинения против Катилины в террористических намерениях были чистой выдумкою позднейшей фабрикации, когда требовалось представить личность Катилины возможно

чернее: тогда всякое лыко, даже воображаемое, шло в строку, и аудитория, внимавшая им из уст Цицерона, охотно рукоплескала.

В 64 году, освободившись от процесса, Катилина поставил свою кандидатуру на консульство 63 года в качестве вождя демократической оппозиции против Цицерона и пятерых других. По-видимому, Цицерон сам первоначально думал вести избирательную кампанию под демократическим ярлыком, для чего и сделал вышеупомянутую попытку заручиться благосклонностью Катилины; но, встретив отпор, он обратился к аристократии и получил от нее мандат. Результат выборов нам известен: убоявшись революционных замыслов Катилины, имущие классы единодушно отдали свои голоса Цицерону, и последний одержал блестящую победу. Реакция началась по всей линии: после провала Сервилия Рулла вновь избранный консул защитил Рабирия, обвинявшегося в соучастии в убийстве демократического вождя Сатурнина, и, наконец, принял за Катилину, опять готовившего свою кандидатуру на консульство 62 года.

Достижение Катилиною этой должности должно было послужить сигналом к открытым военным действиям: умудренный горьким опытом прошлого, он зная, что правящие классы не сдадутся без борьбы и что, даже если ему и удастся добиться консульства, они, в рвении охранить свои интересы, не остановятся перед буквою конституции, объявляющей личность магистрата неприкосновенною. Поэтому он решил поставить свое предприятие на широкую и прочную основу и с этой целью собрал в Этрурии значительное войско из всех недовольных элементов общества, готовясь сейчас же после выборов отправиться к нему и поднять знамя восстания. Его замыслы и средства борьбы не заключали, стало быть, в себе ничего заговорщицкого, как это принято думать со времен Саллюстия: готовилась настоящая междоусобная война, война эксплуатируемых против эксплуатирующих, подобная той, какую 15 лет спустя повел с таким успехом Цезарь. То было широкое социальное движение, а не тайное предприятие одного или нескольких лиц, не имевших за собою ничего, кроме решимости и личного почина.

Но Цицерон не дремал. Через Фульвию, любовницу Курия, одного из приближенных Катилины, он был осведомлен о каждом шаге неприятеля и накануне выборов решил повести атаку. 20 октября он получил от сената разрешение отложить день выборов, а 21 сделал в сенате формальный допрос Катилине. Последний и не думал скрывать своих намерений: римское государство, сказал он, состоит из двух организмов – один слабый со слабою головою (сенат), а другой сильный, но без головы (народ): он,

Катилина, намерен играть роль последней для второго. С этими словами он вышел из курии, оставив сенат в изумлении и ужасе.

Цицерон был обманут в своих ожиданиях: памятуя поведение сената во время борьбы с Гракхами, он надеялся, что Катилина будет растерзан на месте; но за последние сто лет произошли крупные перемены, и аристократия успела растерять последние остатки своего мужества. “Собрание царей” выродилось в собрание умственных и нравственных ничтожеств, да и консулы сами с Цицероном во главе были уже не Назики.

Тем не менее, Катилина выборы проиграл: Цицерон в совершенстве владел оружием, несравненно более опасным в те времена, нежели истина и право, – языком. Им наш благонамеренный оратор творил чудеса, распространяя слухи о заговоре, от которых у добрых людей волосы становились дыбом. Заговорщики встречались не иначе, как темной ночью; они давали друг другу страшные клятвы; они пробовали друг у друга кровь; они убивали младенцев и питались их внутренностями; они замыслили перебить знатнейших горожан; они собирались сжечь и разграбить весь город; они даже распределили его на сто участков со специальными комитетами для одновременного приведения этого ужасного замысла в исполнение и т.д., и т.д. Мороз продирает по коже от этих рассказов, и когда для вящего подтверждения их стали еще сыпать деньгами направо и налево, основав специальный для этого фонд, куда все защитники спокойствия и порядка, не исключая самого добродетельного Катона, внесли свои лепты, то все добрые граждане окончательно убедились, что с Катилиною шутить нельзя, и поголовно вотировали за сенатских кандидатов.

Тогда Катилина решил отправиться в Этрурию, передав заведование делами в Риме Лентуллу и Цетеггу, из которых первый был в том году городским претором. Узнав об этом, Цицерон решил дать Катилине генеральное сражение. Он опять распространил слухи о злодейских умыслах заговорщиков, говоря, что двое из них – сенатор Варгунтей и всадник Корнелий – приходили к нему утром на поклон с целью убить, но нашли его предупрежденным и недоступным, и созвал специальное собрание сената в храме Юпитера Зиждителя – на почтительном расстоянии от города и... опасной городской толпы, – куда пригласил и Катилину. Все было подготовлено к тому, чтоб угостить его так, как некогда угостили Гракхов, и Цицерон взял на себя инициативу. Как только мятежник, как бы не подозревая об имеющей разыгаться комедии, вошел в сенат, почтенные мужи совета демонстративно покинули скамью, на которую он сел, и оставили его одного. Поднялся Цицерон и, дрожа от

патриотического негодования, произнес свою знаменитую “Первую речь против Катилины”. “До коих пор Катилина намерен злоупотреблять нашим терпением? – загремел он, к величайшему восхищению своих коллег. – Разве он не знает, что все его умыслы и планы известны сенату и консулам так, как если бы они присутствовали на тайных совещаниях его и его сообщников? Разве он не знает, что слух о готовящемся поджоге города и избиении именитых сенаторов ходит по устам, вызывая негодование у всех, в ком живы еще добрые нравы, заповеданные великими предками? Разве Варгунтей и Корнелий не приходили к нему, Цицерону, сегодня же утром с целью убить его? Разве у него нет войска в Этрурии, набранного из гнуснейших подонков общества? Чего же он медлит? Зачем он остается в городе? Или он хочет дожидаться участи, какая постигла Гракхов и Сатурнина, – участи, которую, впрочем, он заслужил уже давным-давно? (Увы! сенат не понимает намека и не трогается с места.) Пускай же он лучше убирается из Рима подобру-поздорову, пока шкура цела”. Он советует ему это сделать немедленно же, он требует этого во имя республики и сената, он умоляет его ради счастья и благоденствия римского народа...

Слова эти имели большой эффект, но все же не такой, какого ожидал Цицерон: Катилина оставил курию, не проронив ни слова, а сенаторы ограничились лишь яростными криками да объявлением осадного положения по формуле: *videant consules*. Преступник опять вышел невредимым из логовища врагов, и перуны консула пропали даром. По-видимому, однако, и сам Цицерон-громовержец был более храбр на словах, нежели на деле, потому что его совет Катилине бежать из Рима – совет, как он отлично знал, совершенно излишний – может быть объяснен лишь желанием избежать неприятной необходимости арестовать заговорщика и тем самым рисковать своей жизнью.

Катилина уехал в ту же ночь, а Цицерон, облеченный специальными полномочиями, принялся за дальнейшее искоренение “крамолы”. Без сомнения, он знал всех и каждого из друзей Катилины поименно и в лицо, он знал даже, где они встречаются и что намереваются предпринять; но вместе с тем он понимал, что делать на них открытое нападение без юридических доказательств в руках было бы делом несколько рискованным. Но напрасно объявляет он награды тому, кто сообщил бы ему сведения о действиях “заговорщиков” и доставил бы ему доказательства их преступности: никто не откликается, потому что заговора, собственно говоря, и не было, и народная масса симпатизировала Катилине больше, нежели сенату. Но того, чего Цицерон не мог добиться деньгами, ему

удалось достичь благодаря бестактности самих катилинцев, потерявших в лице уехавшего вождя своего наиболее способного руководителя и организатора.

В Риме находились тогда послы от галльского племени аллоброгов, прибывшие с жалобой на своего наместника. Долго не получая удовлетворения, они были сильно раздражены против сената и охотно вступили в тайные переговоры с Лентуллом, обещая ему помощь для свершения *coup d'etat*. Вскоре, однако, они одумались и чистосердечно признались во всем своему патрону. Цицерон немедленно был оповещен о случившемся, и дело устроилось так: под предлогом, что их соотечественники не поверят одним словесным обещаниям, хитрые послы потребовали от Лентулла письменного договора и, заполучив его, отправились к Катилине в Этрурию за ратификацией. По дороге, однако, на них напали сенатские посланцы и отобрали документы. Больше Цицерону и не надо было: он немедленно созвал сенат в храм Согласия, вытребовал к себе Лентулла и Цетегга и, уличив их при помощи документов и свидетелей, велел их арестовать. 4 декабря на заседании сената были определены награды доносчикам, а 5 было проведено, по предложению Катона и Цицерона и при грозной оппозиции Цезаря, решение казнить заключенных без дальнейшего суда и апелляции. В сопровождении ликторов и громадной толпы сенаторов и всадников Цицерон собственноручно отвел осужденных в подземную Капитолийскую тюрьму и здесь приказал их задушить во славу сената и республики.

Это был финал всей истории: с удалением Катилины в Этрурию и смертью его главных сподвижников гидра революции была раздавлена, и благонамеренный Рим мог вздохнуть спокойно. Его уже больше не тревожил кошмар поджогов и убийств, ему уже больше не угрожала опасность переворотов и конфискаций, и он мог по-прежнему вести тучную жизнь за счет пота и крови италийского народа. Правда, в Капуе, Этрурии и других местах действовали еще инсургенты, но и они мало-помалу слабели за недостатком дисциплины и организации. Оставшись один с горстью верных друзей, Катилина, наконец, пал при Пистории в 62 году. Он погиб геройской смертью, а с ним – все его товарищи до единого, – все, как с удивлением замечает Саллюстий, с ранами в груди и с выражением решимости в лице.

Так трагически окончилась попытка свергнуть железное иго сенатской олигархии. Попытка эта была не первая – ей предшествовали многие другие, оканчивавшиеся также плачевно; но она была предпоследней: знамя, выпавшее из рук Катилины, было поднято Цезарем, и аристократия

погибла.

Но покамест Цицерон имел полное основание ликовать. Человек без предков и без связей, только что переменявший свое амплуа – homo novus во всех отношениях, он, благодаря исключительно своему таланту красноречиво говорить, достиг высших государственных почестей и спас республику, то есть имущие классы, от неминуемой гибели. Признательность последних не знала пределов: забыв жалкую роль, которую они играли, не замечая банкротства, столь громко заявленного фактом спасения их выскочкою, они осыпали счастливого консула такими почестями, какими до него не пользовался ни один римский гражданин. Его приветствовали повсюду как спасителя родины; ему преподнесли и в сенате, и на форуме неслыханный до того титул отца отечества, и в честь его воссылались богам бесчисленные молитвы и жертвоприношения. Каждую ночь в течение долгого времени город иллюминировался как в праздник, и повсюду, где появлялась знакомая фигура оратора, раздавались бешеные рукоплескания и возгласы и составлялся почетный конвой из цвета аристократической молодежи. Цицерон сделался популярнейшим человеком в Риме, но эта популярность, как мы сейчас увидим, продолжалась недолго.

Глава II

Тщеславие Цицерона и падение его популярности. – Отношение его к триумвирам. – Клодий и его процесс. – Кампания против Цицерона. – Малодушное его поведение, изгнание и переписка. – Агитация Милона в пользу амнистии. – Возвращение Цицерона. – Новый курс. – Цицерон в Киликии. – Междоусобная война и поведение Цицерона. – Примирение с Цезарем. – Политика Цицерона после 15 марта. – Антоний и Октавиан. – Бегство Цицерона. – Борьба с Антонием. – Филиппики. – II триумвират. – Проскрипция и смерть Цицерона. – Общий характер его частной жизни. – Ораторская и литературная деятельность. – Характер и сила его красноречия. – Его философские занятия. – Цицерон как писатель и его заслуги. – Содержание “Республики”

В конце 63 года Цицерон сложил с себя консульскую должность и, оставшись не у дел, стал жить простым сенатором, упиваясь обрушившимся на него почетом. В сознании услуг, оказанных им, незначительным арпинцем, надменному аристократическому сословию, он готов был, подобно Нарциссу, пасть на колени перед самим собою и любоваться отражением своих добродетелей, которое, казалось ему, он видел в раздающихся вокруг него похвалах. Его самомнению не было границ: он смотрел на себя, как на самого выдающегося человека в государстве, чье единое слово или жест имеет право на всеобщее внимание и повиновение. С деланной скромностью человека, знающего себе цену, он являлся в сенат, так беспримерно им облагодетельствованный, и с отеческою снисходительностью давал свои советы, то и дело напоминая своим коллегам приснопамятный год своего консульства и зловещие имена Катилины и Лентулла. Куда бы он ни являлся – в частный дом или на форум, в народное собрание или на суд – везде и всегда 63 год вертелся у него на языке, и вся его переписка за это время, речи и сочинения полны рассказами о его деяниях и заслугах. Злые языки говорили даже, что он по этому поводу написал одну латинскую и одну греческую поэмы, но, к счастью, они до нас не дошли. Известно лишь, что он обращался к одному из своих друзей с просьбою написать историю его консульства, причем просил “не жалеть красок” и “иметь в виду дружбу более, нежели истину”.

Понятно, что он стал надоедать. Люди редко с охотою выслушивают напоминания об оказанных им благодеяниях; но когда оно делается еще с такую назойливостью, как это делал Цицерон, они начинают тяготиться. От

добродушного посмеивания над тщеславными выходками экс-консула даже лучшие его друзья стали мало-помалу переходить к недоумению, а потом к раздражительности; когда же эти выходки приняли характер притязаний на всеобщее поклонение, раздражительность перешла в презрение и, наконец, в ненависть. Популярность Цицерона постепенно исчезала, ореол его тускнел, и аристократия, наконец, увидела, что имеет дело с несносным выскочкою, которому надлежит указать его место. В этом помог ей сам Цицерон.

В 61 году после шестилетнего пребывания на Востоке возвратился Помпей и сразу пришел в столкновение с сенатом по поводу наделения его ветеранов землею; около этого же времени прибыл из Испании и Цезарь и стал домогаться консульства. Оба честолюбца, видя, как трудно преодолеть оппозицию сената разьединенными силами, решили сблизиться и в 60 году заключили союз с целью общими средствами достичь власти. В союз был принят богатый Красс, и они втроем составили план кампании против сенатского режима. Цицерон почувствовал себя оскорбленным: уже один тот факт, что его, величайшего и заслуженнейшего из римлян, могли обойти, не считая даже нужным справляться с его мнением или заручиться его благосклонностью, казался ему величайшей неблагодарностью; но обида еще более усилилась, когда на все авансы, которые он, после некоторого колебания, решил делать через третье лицо, предлагая свой нейтралитет взамен места в жреческой коллегии, триумвиры не нашли другого ответа, кроме холодного равнодушия. Это было больше, чем он мог снести: его, очевидно, ставили ни во что, и Цицерон принялся изо всех сил расстраивать триумвират, стараясь отвлечь от него своего старого друга, слабохарактерного Помпея. Увы! Его усилия были бесплодны: честолюбие Помпея оказалось сильнее его дружбы, и Цицерон в отчаянии и тоске стал, как фурия, метаться по Италии, беснуясь над своим бессилием и злобствуя на весь мир. Триумвирам, наконец, надоело возиться с ним, и Цезарь пробовал было удалить его со сцены миром, предложив ему при себе должность легата и место в комиссии по переделу кампанских земель; но ничто не брало: уязвленный оратор отказывался слышать о каких бы то ни было предложениях, тем менее об отъезде из Рима. Тогда новые владыки республики решили спровадить его силой и с этой целью выдвинули против него пресловутого Клодия, его заклятого врага.

Этот Клодий принадлежал к Клавдиям, одному из знатнейших родов Рима; его патроном был Марк Красс. В 65 году он оставался еще на стороне сенатской аристократии, выступая обвинителем Катилины в его африканском процессе по лихоимству; но уже тремя годами позже мы

находим его в рядах демократической партии, где он приобретает известность своей энергией, смелостью и... легкими нравами. Он был большой друг – политический и личный – Цезаря, но это нисколько не помешало ему завести тайную связь с его женою. В 62 году, когда он был избран квестором на будущий год, эта связь закончилась скандалом, который заставил говорить о себе все римское общество: переодетый в женское платье, он проник и был узан в доме Цезаря, бывшего тогда верховным жрецом, как раз в то время, как его жена справляла при участии знатнейших матрон таинства в честь Вона Деа, на которых присутствие мужчины было строго-настрого запрещено. Случай был необыкновенно сенсационный, но он, быть может, прошел бы бесследно, если бы сенат не вздумал из-за этого устроить Клодию процесс. Мотивом выставили совершение святотатства, как поступок Клодия с важностью определила жреческая коллегия; но можно смело усомниться в искренности его, видя, с одной стороны, что со времени совершения проступка прошло целых семь месяцев, и зная, с другой стороны, что ни один из образованных людей того времени не верил ни в Вона Деа, ни в ее таинства. Вероятнее всего, расчеты были исключительно политические, и обвинение в святотатстве выдвинули лишь как предлог загубить видного члена оппозиционной партии. Это, между прочим, явствует еще из того, что Цезарь, глава демократии после Катилины, согласился забыть обиду, понесенную им в качестве обманутого мужа, и упорно отказывался, несмотря на свидетельства домашних и друзей, давать против адюльтера какие-либо показания. Правда, он развелся со своей женою и тем как бы признавал ее преступность; но это он мотивировал тем, что “жена Цезаря должна стоять выше даже подозрений”.

Процесс состоялся в 61 году перед жюри, выбранным по жребию и состоявшим из 56 членов. Клодий отрицал свою виновность, говоря, что как раз в момент совершения проступка он был в Интеррамне, в 90 милях от Рима, и что, стало быть, человек, пойманный в доме Цезаря, был не он, а кто-то другой. Но тут поднялся Цицерон и под присягою показал, что всего за три часа до того, как было совершено святотатство, Клодий был у него, в городском доме, и говорил с ним о политике и других делах. Дело Клодия, по-видимому, было проиграно: за три часа нелегко было очутиться в месте, отстоявшем от Рима на несколько десятков миль; тем не менее Клодий избежал наказания. Большинство членов жюри – 31 человек – оказались демократами и, понимая игру, скрытую под покровом религии, вынесли подсудимому оправдательный вердикт.

Это был большой удар для благонамеренных вообще и для Цицерона в

особенности. Оратор, оскорбленный тем, что его показания были игнорированы, видел в освобождении Клодия не только политическую, но и личную обиду: он не уставал в сенате и частных разговорах нападать на богохульственного адюльтера и утверждать, что жюри было подкуплено при помощи Крассовых денег, сытных обедов и веселых женщин. Клодий отплачивал ему тою же монетою и поклялся отомстить ему при первом же удобном случае.

Этот случай не замедлил представиться, когда триумвиры рассорились с Цицероном. Желая еще больше “одемократиться” и вместе с тем добиться трибуната, к которому он как патриций не имел доступа, Клодий давно уже хотел отречься от своего рода и приписаться к какой-нибудь плебейской фамилии. Для этого требовалось специальное разрешение народа в куриатском собрании; но дело затягивалось и долго не удавалось благодаря оппозиции сенатской партии, а отчасти даже и триумвиров, все еще не решавшихся погубить Цицерона. Но выступление последнего в защиту К. Антония, обвинявшегося агентами Помпея в вымогательствах в Македонии (Цицерон делил с ним добычу), решило дело: в тот же день, через три часа после процесса, народное собрание, по предложению Цезаря и под председательством Помпея, провело необходимое *lex curiata*, и Клодий стал сыном Фоктея, человека моложе его самого и, к тому же еще, недавно женившегося и имевшего все шансы иметь собственное потомство. Конечно, это был абсурд и вопиющее нарушение конституции; но триумвиры и Клодий остались довольны остроумной проделкою и только смеялись над яростными протестами олигархов. Выбранный трибуном на 59 год, Клодий осторожно принялся за дело. Он заручился популярностью в народе такими мероприятиями, как отмена платы за раздаваемый пролетариату хлеб, разрешение вновь открывать клубы и цехи, запрещенные реакцией, и им подобными, а потом внезапно повел атаку на ничего не подозревающего Цицерона. Как читатель, вероятно, помнит, сенат после раскрытия заговора Катилины велел казнить в тюрьме Лентулла и Цетегга. Это был акт, незаконный во многих отношениях: сенат присвоил себе судебную функцию, которая ему не принадлежала, и велел привести в исполнение приговор, которого он не имел права произносить. Кроме того, он не дал осужденным полагавшегося им по закону права апеллировать к народу. Это было дерзкое превышение власти – настоящий административный произвол, который, несмотря на извиняющие обстоятельства, сильно взволновал народ, по справедливости видевший в нем посягательство на его права. Особенно обвиняли в этом Цицерона, который и как главное действующее лицо, и как консул являлся

ответственным за все поступки сената; когда поэтому в декабре 63 года он слагал с себя должность и давал перед народом обычный отчет в своей деятельности, один из тогдашних трибунов, Кв. Метелл Непот, обвинил его в соучастии в сенатском преступлении и не хотел ему давать даже право голоса. Большинство собрания, в котором преобладали “благонамеренные”, было, однако, на стороне Цицерона, и когда он, в ответ на это нападение Метелла, громко поклялся, что он спас отечество, публика в один голос поддержала его и проводила домой с овациями. Но то было на другой день после искоренения крамолы – а теперь, в 59 году, обстоятельства значительно изменились, и Клодий, внося закон об изгнании всякого, кто когда-либо был повинен в смерти римского гражданина без суда и апелляции, имел полное основание рассчитывать на успех. Правда, он никого не называл по имени; но Цицерон, у которого совесть была нечиста, сразу понял, в кого метил трибун, а поняв, сразу же сдался. Вместо того, чтобы грудью встретить нападение и либо спокойно переждать события, либо отрицать свою виновность, ссылаясь на требования момента и на свои заслуги, он предпочел играть роль кающегося грешника и молить о сострадании. В траурном одеянии, небритый, с всклокоченными волосами, обходил он, разрушенный памятник недавней славы, форум и частные дома, прося заступничества и пощады. Плутарх уверяет даже, что за ним шествовал траурный кортеж из 20 тысяч знатнейших сенаторов и всадников, которых Клодий и его банда на каждом шагу осыпали насмешками, руганью и грязью; но такое уверение – явная таррасконада: в Риме никогда не было и половины указанного числа оптиматов, и осыпать такую огромную толпу грязью было бы делом мудреным, да и рискованным. Цицерона, вероятно, сопровождала небольшая горсть оставшихся у него друзей, и вместе с ними он совершал свой скорбный путь, преследуемый хохотом уличных мальчишек, дивившихся этой странной процессии рыцарей печального образа. Его старания были напрасны: против него была аристократия, которая не могла переварить его происхождения и заносчивости; оба вновь избранных консула, Пизон и Габиний (первый – тесть Цезаря, а второй – креатура Помпея), которым Клодий обещал доставить жирные провинции, и, наконец, городской пролетариат, которого трибун беспрестанно поджигал речами и действием. О триумвирах же и говорить нечего: даже Помпей, старый приятель Цицерона, обязавший Клодия не трогать оратора, вышел через заднее крыльцо, когда последний пришел к нему просить заступничества. Все было кончено – и герой решил уступить заблаговременно: в одну темную апрельскую ночь 58 года он отнес в Капитолий свою любимую статую

Минервы и удалился из Рима в добровольное изгнание, рыдая и терзаясь, как слабонервная женщина, проклиная своих врагов, Рим, весь мир, самого себя.

Так жестоко поплатился Цицерон за тщеславие и бестактность. По предложению Клодия его объявили вне закона, и строгое наказание было объявлено тому, кто приютит беглеца. Его дворец на Палатинском холме, купленный у Красса за бешеную сумму и давно уже коловший глаза надменной аристократии, был снесен, а его место посвящено Свободе, роскошные виллы в Тускуле и Фурмии были разграблены и разрушены. Ему было запрещено жить ближе, чем на расстоянии 400 миль от Рима, и Цицерон, думавший было поселиться в Сицилии, среди своих бывших клиентов и друзей, принужден был переехать в Грецию и жить в Фессалонике, а затем, с декабря, в Диррахии. Отсюда он шлет домой, к Аттику и жене, письма, которые своей слабыхарактерностью и малодушием вызвали упрек даже со стороны его апологетов. Никогда, жалуется он, человек не падал с такой высоты в такую бездну несчастья, как он. Он оказал республике услуги, с которыми не могут сравниться ничьи другие, и в благодарность за это она его отвергла, как отвергают врага и изменника. Участь его беспредельно скорбна, свет для него померк и жить дольше для него не имеет смысла. Друзья пишут ему, чтоб он бодрился и не отчаивался; но разве возможно бодриться ему, столь великому человеку, повергнутому в такое ужасное положение? Зачем, о зачем он не умер раньше, во дни своей славы, когда смерть была бы так сладка, так выгодна? Зачем друзья не посоветовали ему сделать это? Зачем не предупредили они его о грозящей опасности? Зачем не отговорили от последнего шага, не запретили ему казниться перед народом и просить пощады, как будто он в самом деле был виновен? Неужели дружба выражается лишь в позднем соболезновании и ненужных слезах? О, пусть они постараются всеми силами изменить народный приговор и вернуть его обратно в Рим, к его любимым местам и занятиям! Пускай не жалеют ничего, пускай не скупятся на просьбы, обещания и убеждения – лишь бы он мог воротиться назад к прежней жизни. Он просит их об этом со слезами на глазах, он умоляет их сжалиться над несчастным изгнанником и он обещает им свою вечную благодарность, свою вечную дружбу.

Эти жалкие причитания и моления возымели действие, и друзья стали лезть из кожи вон, чтобы вернуть его из ссылки. Первыми, естественно, поддались сенат и аристократия, для которых красноречие Цицерона всегда было украшением и оплотом и которые теперь, при виде его несчастий, смягчились и признали, что он ими достаточно уже искупил свою вину.

Уже в июне 58 года в сенат поступило предложение одного из членов его вернуть изгнанника, но оно, как и другое в том же году, было преждевременно и не могло пройти через коммиции. К началу 57 года шансы значительно улучшились. Один из новых консулов П. Лентулл Спинтер был всецело на стороне сената, а Помпей, оставшись один в Риме после отъезда Цезаря в Галлию, стал мало-помалу склоняться туда же и вступать в соглашения с аристократией. В виде аванса и как залог его искренности с него прежде всего потребовали возвращения Цицерона, и Помпей стал хлопотать у народа об амнистии. Для борьбы с Клодием, все еще пользовавшимся большим влиянием в народных кругах, он сошелся с народным трибуном Милоном, достойным соперником Клодия в дерзости, решимости и находчивости. Во главе наемной толпы гладиаторов новый защитник Цицерона стал бороться со своим врагом, устраивая ежедневные схватки с ним и его приверженцами и терроризируя население боями и мятежами. Улицы Рима стали свидетелями непрерывных смут, мостовые обгазились кровью и устилались увечными и ранеными, и воздух оглашался криками победителей и стонами умирающих. Хаос стоял невообразимый, власть законов исчезла, и публика с волнением следила за перипетиями борьбы и выжидала ее результатов. К несчастью, силы противников были равны, и Помпей, видя, что дело может затянуться надолго, принужден был прибегнуть к другим мерам. По его предложению сенат в мае 57 года постановил стянуть в Рим граждан италийских муниципиев, всегда, как известно, державших сторону сената, с целью подавить оппозицию городского населения численным превосходством. Мера была действенной, и 4 августа, при страшных беспорядках и кровопролитии, народное собрание провело требуемое решение.

Опала Цицерона, таким образом, кончилась, и, покинув Диррахий, он переправился в Брундизий, где его ждало семейство, а оттуда по знаменитой Аппиевой дороге медленно двинулся в Рим. Из всех попутных городов ему выходили навстречу муниципалитеты с приветствиями и поздравлениями, и когда 4 сентября он прибыл в столицу, сенат, должностные лица и всадническое сословие приняли его с шумными овациями. При громе рукоплесканий взшел он на форум, а оттуда – на Капитолий, и здесь, как некогда в Афинах Демосфен, он произнес благодарственную речь богам и народу. “Италия принесла меня на плечах к Риму”, – говорил он впоследствии по поводу своего триумфа, и с этими словами нельзя не согласиться, если отождествить Италию с ее правящими классами.

Как ни кратковременно было изгнание Цицерона, но он запомнил

полученный им урок: несмотря на внешний почет, который ему теперь оказывали, – ему вернули конфискованные земли и даже присудили вознаграждение в два миллиона сестерциев за убытки, – он довольно ясно понимал, что время политического расцвета для него прошло и что отныне центр тяжести переходит к другим, более сильным, нежели он. Занесенный в орбиту могущественных триумвиров, он вскоре убедился, что больше, чем на роль спутника их, он рассчитывать не может и что единственное, на что он способен, это – быть послушным исполнителем их воли. Правда, он не сразу мирится со своей новой ролью и некоторое время все еще продолжает мечтать о самостоятельной политике; но действительность разбивает его мечты, и он безусловно покоряется своей участи. В письмах к друзьям и знакомым он излагает свое новое *profession de foi*, говоря, что еще Платон учил, что граждане обязаны быть одних мнений со своими вождями, и отдает все свои силы и таланты в распоряжение триумвиров. Он поддерживает в сенате каждое предложение их; он слагает дифирамбы их подвигам и защищает их интересы на суде и в народном собрании. Чтоб иметь понятие об услужливости его, мы приведем три случая из адвокатской практики его в этот период.

Скавр, пасынок Суллы и кандидат на консульство 53 года, так растратился за время своего эдильства, что для поправки дел отправился в Сардинию в качестве пропретора. Грабеж имел гомерические размеры, и провинциалы привлекли его к ответственности. Тогда Помпей, который был женат на сестре Скавра, приказал Цицерону защитить его, и тот исполнил свою роль с таким успехом, что из 70 судей только 8 объявили себя против подсудимого. Освободившись, Скавр стал бесцеремонно подкупать избирателей, – и ему вторично устроили процесс; но на сцене опять появился красноречивый Цицерон, и шурин Помпея был опять объявлен невиновным.

Около этого же времени судился за взяточничество некий Ватиний. В 59 году он был трибуном, и тем, что дал показания против клиента Цицерона, навлек на себя беспощадные нападки со стороны последнего. Теперь же, в 54 году, когда происходил его процесс, он был лейтенантом Цезаря, – и бедному Цицерону пришлось выступить на защиту того, кого он раньше обзывал лжецом, вором, грабителем и убийцей!

Однако наиболее характерным инцидентом в карьере Цицерона в это время была его защита Габиния. Этот гнусный тип имел счастье быть протеже Помпея; в 54 году он вернулся из Сирии, где был проконсулом и наградил миллионы. Рим его встретил тремя процессами: за оскорбление достоинства народа, за вымогательство и за подкуп. Народ его ненавидел,

люди наперерыв искали возможности фигурировать в качестве его обвинителей, и когда перед судом претора адвокат стал говорить, брань и угрозы публики заставили его замолчать. Цицерон сам был против обвиняемого как представитель публиканских интересов, столь негнужированных Габинием. Однако он воздержался от открытого нападения, ибо, как писал брату, он “не хотел ссориться с Помпеем”. Благодаря своим миллионам Габиний отделался от процесса благополучно: из 70 судей 38 были того мнения, что ни люди, ни боги ничего не могут иметь против такого безупречного гражданина. Но наступил второй процесс Габиния, за вымогательство – и Цицерон, по приказанию Помпея, принужден был взяться за его защиту!..

Но таких примеров не оберешься; достаточно и приведенных, чтобы понять, какими средствами Цицерон успел примирить себя с триумвирами и даже снискать их расположение: Цезарь теперь похваливал его стихи, а Помпей уверял, что, не спаси он Рима от Катилины, ему не над чем было бы теперь властвовать. Цицерону удалось 5 лет прожить без тревог и в 54 году, после смерти Красса, даже получить давно желанное место в жреческой коллегии; но судьба его недолго баловала: в 52 году его опять удалили из Рима, заставив принять в управление дальнюю провинцию Киликию в Малой Азии.

Что было причиною этой новой опалы, мы не знаем; нам известно лишь, что 15 апреля 52 года наш герой под обычные охания и жалобы на судьбу принужден был оставить Рим и поехать в назначенную ему провинцию. Он проводит там целый год и отличается так же, как некогда отличился в Сицилии. Он дважды объезжает всю Киликию, вникая в нужды населения и творя беспристрастный суд; он умеренно покровительствует публиканам, не превышая вверенной ему власти, и с особенной заботливостью следит за интересами римского правительства, стараясь прекратить злоупотребления по администрации, и возвращает казне расхищенные при его предшественнике суммы. Он ни разу не был повинен в вымогательстве или лихоимстве, и отказался даже от содержания, которое провинциалы обыкновенно назначали своим правителям. Он никогда никого не бранил и не наказывал прутьями; у его ворот никогда не было часовых, и никому он не отказывал в аудиенции; все имели к нему свободный доступ, всех он выслушивал с одинаковым вниманием, и всем он готов был оказать помощь.

Не довольствуясь успехами в гражданском ведомстве, он искал лавров и на военном поприще. Он покори́л Каппадокию для царя Ариобарзана, друга римского сената; он усмирил восставших киликийцев и нанес

парфянам несколько решительных ударов, разрушив их селения и забрав множество пленных и добычи. Во многом, правда, если не во всем этом, он был обязан своему брату Квинту, который поехал с ним в качестве легата; все же честь принадлежала ему как старшему, и он получил от своей армии титул императора. Гордясь своим званием и украсив свои проконсульские пучки неувядаемыми лаврами, он посылает сенату пышное описание своих военных подвигов и просит его вознести богам *supplicatio* – молебствие – за его победы и удачи.

Он теперь начинает мечтать о триумфе и последние недели своего наместничества проводит в писании писем к друзьям, в которых просит их содействовать ему в достижении этой чести, а главное – устроить так, чтобы он мог уехать из провинции, как только окончится его год: война с парфянами еще тянулась, и сенат мог ввиду этого продлить его правление на неопределенный срок. Цицерон этого сильно опасался: нетерпение покинуть место изгнания и желание вернуться в свой излюбленный Рим поджигались еще надеждою на триумф, – и вот, с мужеством, несколько для него необычайным, он решает взять судьбу в свои собственные руки: не дожидаясь назначения и приезда преемника, он сдает бразды правления своему квестору и 30 июля 50 года выезжает из Киликии на родину. Он едет через Эфес, Родос, Афины и Брундизий и в начале 49 года приближается к столице, останавливается у ее стен и ждет сенатского декрета насчет триумфа. Увы! Напрасно: в это самое время загорается пожар междоусобной войны между Цезарем и Помпеем, и нашему доблестному герою, к его великой досаде, приходится отложить свои мечтания на неопределенное время.

В его жизни наступает теперь пора, еще более печальная для него и его репутации, нежели какая-либо предшествовавшая. Вспыхнувшая свалка как бы застигла его врасплох, и в опасении за свою жизнь и имущество он долго не знал, к какой из воюющих сторон пристать. По своим симпатиям, личным и классовым, он всецело принадлежал Помпею: за него, как он сам говорил, стояли все *boni viri, lauti ac locupletes* – все благонамеренные граждане, знатные и богатые, то есть сенаторы, всадники и муниципалитеты городов, в то время как Цезарь имел на своей стороне лишь тех, “кто живет страхом и лихими надеждами”, то есть городских пролетариев, разоренных италийцев, золотую, но влезшую в долги молодежь, народных трибунов и прочие элементы демократии. Казалось бы, колебаниям здесь не могло быть места, и в начале борьбы Цицерон сам выражал мнение, что, подобно тому, как волы идут за волами, так и ему надлежит следовать за своим стадом, то есть благонамеренными; но, на

беду, материальный перевес был решительно на стороне Цезаря, имевшего под своими знаменами до 15 легионов пехоты и конницы, в то время как у Помпея не было ни одного солдата, – а это совершенно изменяло положение дел, ставя нашего и без того нерешительного героя перед ужасным выбором: либо пристать к первому – и изменить своим убеждениям, либо пристать ко второму – и идти на гибель, быть побежденным и подпасть под проскрипцию. И то, и другое было довольно неприятно, но Цицерон сам говорит, что с готовностью махнул бы рукою на симпатии, убеждения и прочие сентиментальности, если бы знал наверняка, что Цезарь победит; к сожалению, кто, когда дело доходит до междоусобной войны, в состоянии предвидеть, чем она окончится? И бедный Цицерон теряется в сомнениях и рассылает к своим друзьям письма, полные жалоб, стонов и слез, ища их совета, прося у них утешения и оплакивая свою горькую долю. Он ведет переговоры и с Помпеем, и с Цезарем, он старается их примирить, он дает обещания и тому, и другому и навлекает на себя дурную молву, которая заставляет его страдать еще больше. Но его терзания увеличиваются во сто крат, когда Помпей покидает Италию и отправляется набирать войска на Востоке: прежняя дилемма предстает во всей своей ужасной рельефности, дольше медлить становится невозможным: либо оставаться в Италии и, значит, пристать к Цезарю, либо объявить себя помпеянцем и идти вслед за вождем в Грецию. Злополучный герой окончательно теряет голову, особенно видя любезное отношение со стороны Цезаря, который, ценя язык Цицерона, делает ему всевозможные авансы и обещает свою вечную дружбу и милость. В письмах, представляющих позорный монумент его беспринципности и малодушия, Цицерон изливает свою тоску и отчаяние перед Аттиком, ища у него ответа на терзающий его вопрос: уехать ли, или оставаться – пожертвовать ли своим имуществом и покоем, или выбросить за борт свои убеждения? Он приходит в ярость от одной мысли об отъезде и готов проклинать день, когда он впервые увидел свет. Он вооружается против самого Помпея, поставившего его своим отъездом в такое безвыходное положение, и обвиняет его в бессердечии к друзьям, в честолюбивых замыслах и даже в измене отечеству!

После долгих колебаний и сомнений он, наконец, принимает решение и бросает жребий: 7 июня 49 года он садится на корабль и уезжает в Диррахий, где он некогда жил в изгнании и где теперь находились главные квартиры помпеянцев. Здесь проводит он целый год, ничего не делая и ни единым движением не помогая своим единомышленникам: облаченный в сенатскую тогу и украшенный венком императора, он расхаживал, живое

воплощение мелочности и тщеславия, по печальному лагерю, критикуя действия начальников и солдат и браня, и ворча на Помпея и на себя. Злополучная Фарсальская битва 9 августа 48 года, в которой погиб цвет Помпеевой армии, вывела его, наконец, из неприятного положения: в то время, как другие отступают в Азию, Африку и Испанию с целью собрать войска и продолжать борьбу, он решает, что его оппозиция исчерпана и что самое лучшее, что он может сделать, это вернуться в Италию и просить у победителя прощения. Напрасно друзья добром и угрозами стараются удержать его: Цицерон стоит на своем и отплывает в Италию, послав наперед Цезарю письмо с покаянием и просьбою о помиловании.

Так в третий раз в своей жизни изменил Цицерон своему знамени. Он высадился в Брундизии и, едва спасшись от руки Марка Антония, за отсутствием диктатора, распорядившегося судьбами страны, принялся ждать ответа на свое письмо. Он ждал целых десять месяцев, пока в августе 47 года не получил благоприятный ответ Цезаря, а вскоре затем прибыл и он сам. Не зная, как быть, Цицерон думал было выслать ему навстречу своего сына для вящего заверения своей покорности; но великодушный победитель предупредил его и, лишь только завидел издали, сошел с коня, тепло обнял его и обещал забыть все прошлое.

Цицерон спас свою жизнь и имущество, но честь его погибла. Несмотря на многочисленные знаки внимания со стороны своего нового господина, он провел все время его правления вдали от театра публичной жизни, не имея возможности, среди общего молчания форума, сената и судов, приложить свои ораторские способности. Он жил большей частью на своих дачах, углубленный в занятия философией, и лишь изредка приезжал в Рим, чтобы засвидетельствовать свои верноподданнические чувства всесильному диктатору.

Смерть последнего в марте 44 года от руки аристократических заговорщиков вывела Цицерона на старую дорогу. В заговоре он, как и следует ожидать, не участвовал, но он рад был случившемуся как началу новой эры в жизни Рима. Забыв великодушие Цезаря, он в письмах к друзьям превозносил Брута и Кассия как великих тираноубийц и освободителей отечества, достойных стать в ряд с Гармодием и Аристокитоном – “героями и чуть ли не богами”. Он восхваляет их таланты и гражданское мужество и упрекает их лишь за то, что они “не пригласили его на празднество Ид” и не сообщили ему обо всем заранее, чтоб заручиться его содействием. Он мечтает о восстановлении республиканской конституции, о возрождении сенатского авторитета и власти и льстит себя надеждою, что теперь, наконец, после долгого

перерыва, ему удастся обрести свое прежнее влияние и популярность. На заседании сената 17 марта он поздравляет своих коллег со случившимся и произносит пышную речь о тиранах и о свободе, напоминая о подобных случаях в греческой истории и приводя цитаты из греческих поэтов. Он говорит о примирении обеих партий – республиканской и цезарианской – и рекомендует объявить амнистию всем замешанным в убийстве Цезаря, как это было сделано в Афинах после изгнания тридцати тиранов. Он хочет, чтобы реформы, проведенные покойным диктатором, остались неприкосновенными, но он настаивает вместе с тем на признании заслуг Брута и Кассия в деле завоевания прав римского сената и народа.

Речь была выслушана с восторгом, и предложение принято, но сделка была недолговечной: когда через несколько дней, на похоронах диктатора, консул Антоний показал народу окровавленную и пробитую кинжалами мантию Цезаря, требуя мести убийцам и всей их аристократической родне, толпа обезумела от ярости и бросилась к домам заговорщиков, намереваясь растерзать их в клочки. Последние, правда, спаслись, но разрыв между республиканцами и их противниками был формально объявлен.

Цицерон сразу пал духом, но появление на сцене Октавиана опять оживило в нем надежды. Приемный сын и законный наследник Цезаря, этот девятнадцатилетний юноша, как только услышал о смерти отца, появился в Италии и, призывая под свои знамена цезаревых легионеров, потребовал у Антония возвращения присвоенных им бумаг и казны покойного. Желая заручиться содействием республиканцев, он стал усердно ухаживать за сенатом и, в частности, за Цицероном, уверяя их в своей преданности и называя их отцами. Тщеславный старик пришел в восторг и деятельно принялся защищать его интересы против Антония; но последний принял суровые меры, и Цицерон стал трепетать за свою участь. По обыкновению своему, он начинает метаться по своим виллам, ища успокоения в философских занятиях, но нигде его не находя. Он хочет уже ехать в Сирию, но раздумывает и едет к сыну в Афины. Он садится на корабль в Брундизии, объезжает своих знакомых и переправляется в Сиракузы, чтоб оттуда отплыть в Грецию; но ветер заносит его обратно к италийскому берегу, и здесь он получает известие о прояснении политической атмосферы. Полон новых надежд, он немедленно мчит обратно в Рим и прибывает туда 31 августа после двух месяцев героических авантюр.

Известие оказалось ложным, и Цицерон ввязался в немедленную борьбу с Антонием. На другой же день после его приезда консул созвал сенат и пригласил злополучного Одиссея дать отчет о своем поведении. Но

благоразумный оратор не пошел, и Антоний, обманувшись в своих ожиданиях, обозвал его в сенате трусом. Он уехал в тот же день в свою виллу, а на следующий день явился в сенат Цицерон и дал ответ отсутствующему противнику. То была первая из его 14 речей против Антония, названных им “филиппиками” в pendant знаменитым речам Демосфена. Это был целый обвинительный акт, хотя в довольно приличном тоне, в котором перечисляются все грехи Антония против республики. Сенат, столь же храбрый в отсутствие консула, как и Цицерон, остался очень доволен; но когда через несколько дней воротился Антоний и сделал вторичное нападение на оратора, ни один не поднялся с места, чтобы защитить последнего, который, как и в первый раз, почел за благоразумное отсутствовать. Цицерон удалился в одну из своих дальних вилл и здесь в начале октября составляет свою знаменитую вторую – “божественную филиппику”, как называет ее Ювенал, – в ответ на новое нападение Антония. Изобилуя громкими фразами, риторическими украшениями и неверными, подчас умышленно искаженными фактами, эта речь, тем не менее, действительно замечательна, благодаря силе выражений, умелой аргументации, красоте формы и интенсивности чувства. В ней автор делает обзор событий со времени смерти Цезаря, восхваляет поступок Брута и клеймит память диктатора. Он обращается затем против своего врага Антония и мечет на него весь колчан своих стрел, черня его личный характер, укоряя за трусость и умаляя его таланты. Он обличает его честолюбивые замыслы, обвиняет его в стремлении к единовластию и называет его врагом отечества, против которого должны быть направлены все силы государства.

Цицерон, однако, не решался прочитать эту речь в сенате в присутствии Антония или издать ее сейчас же. Он отсылает ее раньше на редактирование к Бруту и Аттику, и только спустя месяц или полтора, когда Антоний уезжает на юг, чтобы начать военные действия против Октавиана, осмеливается он приехать в Рим и опубликовать свою речь. Как раз в это время два Антониевых легиона взбунтовались и перешли к его противнику, и сенат, воспрянув мужеством и надеждою, принял Цицероново произведение с восторгом. Цезаревы ветераны, примкнувшие к Октавиану, потребовали немедленного объявления войны Антонию; вновь избранные консулы взяли сторону сената, и Цицерон, столп республиканской свободы, становится во главе движения, имеющего целью свергнуть честолюбца и укрепить сенатский авторитет. Вновь, как в былые годы, делается он героем оптиматов; он кидается с места на место, произносит пламенные речи и побуждает народ к защите свободы; он организует военные силы, он

собирает материальные средства, он восхваляет Октавиана – и отовсюду встречает приветствия, рукоплескания и овации. Так продолжалось вплоть до апреля 43 года, когда, наконец, после долгих попыток к примирению сенат объявил Антония стоящим вне закона и послал против него армию под начальством новых консулов и Октавиана. 15 апреля Антоний проиграл одно сражение, а 22 – другое, но в последнем оба консула были убиты. Весть о первой победе прибыла в Рим 21 апреля, и Цицерон получил такую овацию, какой он не получал со времени возвращения своего из ссылки. Его пронесли на руках из сената в форум, его проводили домой при восторженных возгласах, и вечером весь город был иллюминирован в честь “двукратного спасителя отечества”. На следующий день, 22 апреля, Цицерон произнес в сенате свою последнюю филиппику, которая вместе с тем была и его лебединой песнью. Это был победоносный гимн, полный ликования, гордости и торжества. Нападок в ней мало: оратор требует лишь празднеств и празднеств на целых 50 дней, как после освобождения от иноземного врага; он предлагает молебствие в честь победы, он рекомендует дать полководцам титул императоров и настаивает на включении в почести и Октавиана, который хотя в битве и не участвовал, но все-таки значительно содействовал успехам войны. Предложение было принято с энтузиазмом, но радость сената и Цицерона была недолговечной: Антоний, отступив от Мутины, перешел за Альпы и здесь, в Трансальпийской Галлии, соединился с Лепидом, тамошним наместником, давно уже замышлявшим последовать примеру Цезаря. Известие об этом 29 мая поразило Рим, как громом: все шансы одолеть врага сразу рухнули, и дни сенатского режима были сочтены. Оставался один верный слуга республики, на котором теперь сосредоточились все надежды, – молодой Октавиан, и ему-то теперь вручено было главное командование над силами государства и поручено дальнейшее ведение борьбы. Но и эта опора оказалась ненадежной: Октавиан понял, что теперь настало время ковать, и отказался повиноваться, пока не получит триумфа и других обещанных почестей. Сенат пришел в ужас и в припадке мужества – увы! неуместного – решил отказать. Тогда Октавиан, поддерживаемый своими ветеранами, требует консульства, угрожая в противном случае пойти на Рим и взять должность силою. Ответ последовал двусмысленный, и Октавиан, отправив доверенных лиц к Антонию и Лепиду для переговоров, осаждает столицу и принуждает сенат капитулировать и объявить его, девятнадцатилетнего юношу, консулом.

Так пала республиканская свобода, а вместе с нею и сенатский режим. Цезарианцы восторжествовали, и республиканские вожди – Брут, Кассий,

Секстий Помпей и другие – были заочно осуждены. Октавиан, Антоний и Лепид составили второй триумvirат, и немедленно пошли обычные проскрипции и казни. Одним из первых был осужден наш герой. Плутарх передает, что Октавиан, помня отеческое к нему отношение Цицерона, два дня бился из-за него со своими коллегами, но на третий день принужден был уступить, получив от Лепида голову его брата, а от Антония – его дяди.

Цицерон получил известие о готовящейся ему судьбе на своей Тускуланской даче, где он жил с некоторых пор со своим братом Квинтом, готовясь уехать в Македонию к Бруту. Немедленно они отправились в носилках в Астиру, где у Марка была приморская вилла; но по дороге спохватились, что у них недостает средств для дальнейшего путешествия, и Квинт решил вернуться за ними в Рим. Грустно расстались братья, как бы предчувствуя, что больше не встретятся: подавленные горем и отчаянием, они долго рыдали друг у друга в объятиях, пока мысль о близкой опасности не заставила их разойтись. Квинт отправился в Рим, где сразу был узнан и убит вместе со своим сыном, а Марк успел прибыть в Астиру и берегом пробраться в Цирцею, откуда ему надлежало отчалить. Но здесь начались его обычные колебания и муки: он то хочет возвращаться, то готовится отплыть и, наконец, решает вернуться и хлопотать о помиловании. Он оставляет морской берег, идет по направлению к Риму, проходит несколько миль – и поворачивает обратно к Цирцее. Измученный и усталый, проводит он здесь бессонную тревожную ночь и поутру окончательно решает отплыть. Но не успевает лодка отчалить, как он раздумывает, высаживается вновь и велит нести его в его Фурмийскую виллу. Отупев от усталости и душевных страданий, он решается здесь переночевать; однако слуги его, узнав о близости убийц, насильно усаживают его в носилки и несут опять к морскому берегу. Но было уже поздно: убийцы под начальством Папилия, которого Цицерон некогда защитил от обвинения в отцеубийстве, вломились в дом и, не найдя никого, бросаются по указаниям одного из рабов вслед за беглецом. Они настигают его недалеко от берега. Видя бесполезность дальнейших усилий, Цицерон с мужеством загнанного зверя приказывает поставить носилки на землю и, приложив по своему обыкновению руку к подбородку, высунулся из-за занавесок и посмотрел своим палачам в глаза. Пораженные его жалким лицом, его безумным взглядом, они долго не решались исполнить приговор, пока один из них, Геранний, не собрался с духом и не нанес несчастному роковой удар. Это было 7 декабря 43 года. Цицерону отсекали голову и руки и отослали в Рим, и мстительный Антоний пригвоздил их к той самой ростре, с которой

оратор некогда волновал слушателей своим блестящим красноречием.

Цицерон умер так же, как и жил: нерешительно и трусливо. Через всю его жизненную карьеру проходит красною нитью эта нерешительность, этот недостаток мужества смотреть судьбе прямо в лицо и переносить несчастья со спокойствием человека долга и силы. Отправляясь ли в изгнание или в свою провинцию, готовясь ли последовать за своим вождем или встретить смерть, – неизменно обнаруживает он шаткость в намерениях и малодушие в поступках, недостойных человека и общественного деятеля. Конечно, это был недостаток его характера, тем не менее многое, бесспорно, определялось еще и его принадлежностью к тогдашней буржуазии с ее привязанностью к собственности, с ее непостоянством в политике, с ее готовностью пожертвовать всем ради материального покоя и комфорта...

Отметим теперь общий характер его частной жизни. Человек, одаренный от природы богатыми способностями, живым воображением и чувствительным сердцем, Цицерон к тому еще стоял на вершине культуры своего времени, обладая большинством известных тогда знаний и отличаясь изяществом манер и вкуса. Он был, без сомнения, душою общества: тщеславный и малодушный, он, однако, подкупал всех, кто его знал, своей откровенностью, добродушием, тактом и лояльностью в своих личных привязанностях. Деликатность его обращения, остроумие его речи, его готовность всегда помочь друзьям и знакомым – все это привлекало к нему сердца современников, начиная от его вольноотпущенников и кончая Аттиком и Цезарем. Его семейная жизнь, не в пример семейной жизни других, была безупречной: он нежно любил свою жену, своих детей и других членов фамилии. В них находил он успокоение от тревог публичной деятельности, с ними делил он свои радости и свои страдания и им посвящал он задушевные свои мечты и надежды. К сожалению, это счастье было под конец его жизни сильно омрачено. Прежде всего он лишается своей любимой дочери Туллии, в заботах о которой он проводит всю свою жизнь: она была чрезвычайно несчастна в своем трехкратном замужестве, и, когда в 45 году умерла, горю Цицерона не было предела. Затем он был принужден развестись со своей женой Теренцией после двадцати с лишним лет верного сожителства; причины этого шага нам не вполне известны, но есть основание думать, что Теренция под старость обнаружила такую сварливость и вместе с тем склонность к мотовству, что жить с нею дольше стало слабохарактерному Цицерону невмоготу. Он женится после этого на своей богатой воспитаннице Публилии, но и с нею он принужден вскоре разойтись за то, что она чернила память Туллии. Единственный его сын

также не оправдал его надежд: бездарный и безнравственный, способный исключительно на кутежи и разврат, он ничем не отличился в жизни, кроме как черной неблагодарностью к отцу, которого он не усомнился оклеветать перед Цезарем в надежде самому снискать расположение последнего. Цицерон в последний год своей жизни остается одиноким и одинокий же умирает, не имея даже кому послать свой прощальный привет.

В заключение нам необходимо взглянуть на его литературную деятельность. Она была обширной: Цицерон работал всю свою жизнь с редкой неутомимостью и оставил после себя, кроме огромной переписки, более 100 речей и многочисленные трактаты философского, политического и смешанного содержания. К сожалению, далеко не все эти сочинения дошли до нас: из речей его, например, только 57 сохранились в целостности, а из остальных дошли либо отрывки, либо одни заголовки. Точно так же обстоит дело и с его трактатами: самые важные из них, “Республика” и “Законы”, изобилуют пропусками, извращениями и другими изъянами. Тем не менее, и того, что до нас дошло, достаточно, чтоб установить репутацию Цицерона как самого блестящего из римских ораторов и писателей. Его речи, по большей части действительно произнесенные, но всегда отредактированные, распадаются, естественно, на два отдела – судебные и политические, и лучшими из них признаются: пять речей против Верреса, четыре – против Катилины, все филиппики, а особенно вторая, и, наконец, знаменитая речь в защиту Милона, его шедевр. Мы зашли бы слишком далеко, если бы вздумали подробно рассматривать их; достаточно указать, что каждая из них представляет перл римского красноречия как по форме, так и по содержанию. Без сомнения, Цицерон далеко уступал Демосфену в серьезности и глубине чувства, в обилии идей, в искренности намерений; он нередко заменяет пафос риторикой и прикрывает скудость и убожество мысли потоком звонких слов; все же он недостижимо высок в разнообразии содержания, в блеске формы, в меткости фразировки и изяществе стиля. Он обнаруживает необычайную гибкость и находчивость ума, соединенную с живой памятью и неистощимым богатством выражений, и, обладая к тому же еще и звучным, тонко-модулирующим голосом, равно как и импозантной фигурой, должен был оказывать на слушателей сильное впечатление. До нас дошло много анекдотов, рисующих власть его слова, и для иллюстрации приведем два из них. Некий Марк Оттон сильно раздражил против себя народ, предложив отвести всадническому сословию отдельные от остальной публики места на публичных зрелищах; когда он появился однажды в театре, его встретили таким шиканьем и даже угрозами, что ему пришлось спасаться бегством. На помощь ему подоспел

Цицерон и, вызвав народ к соседнему храму, произнес такую блестящую речь, что народ мгновенно переменял настроение и приветствовал Оттона аплодисментами. В другой раз, значительно позднее, когда Цезарь был уже диктатором, Цицерон вздумал защищать перед ним помпеянца Лигария, которого владыка Рима осудил уже заранее. Узнав об этом, Цезарь добродушно заметил: “Что же, отчего и не доставить себе давно не испытываемого удовольствия – послушать Цицерона, когда я уже составил себе мнение о Лигарии как о дурном человеке и враге?” Но слушать Цицерона было то же, что слушать Сирену: речь была так патетична, исполнена такой прелести, что диктатор был тронут. Лигарий был прощен, чтобы вскоре после этого стать одним из заговорщиков 15 марта.

Через 25 лет после выступления Цицерона на публичное поприще в качестве адвоката начинается его писательская деятельность в узком смысле этого слова. Живой, впечатлительный и беспокойный, нигде не чувствовавший себя лучше, нежели перед толпою рукоплещущих слушателей, он, казалось, был менее всего пригоден к созерцательной жизни философа и писателя; тем не менее, он много занимался и писал, всякий раз как политический горизонт заволакивался тучами и публичная деятельность становилась опасною. Так, например, его “Оратор”, “Республика” и “Законы” выходят в 55, 54 и 52 годах соответственно, когда господство триумвиров отняло у него возможность заниматься политикою, а его “Парадоксы”, “О верховном благе и зле”, “Академические вопросы”, “Тускуланские беседы”, “Об обязанностях” и многие другие – в два года диктатуры Цезаря.

Цицерон далеко не отличался оригинальным умом, и его знания были скорее обширны, нежели глубоки. Эклектик со стоическими симпатиями в этике и неоакадемическими – в политическом и общем мирозерцании, он не дал ни одной мысли, которая обогатила бы сумму наших идей. Тем не менее, было бы неуместно, да и несправедливо осуждать его за это отсутствие оригинальности, как это делают многие: Цицерон никогда не имел притязаний на самостоятельность и никогда не ставил себе задачей дать миру новую философскую систему; он хотел лишь ознакомить своих современников с теми результатами работы мысли, которые были достигнуты в Греции – этой мастерской идей древности. В пределах этой задачи, хоть и скромной, но чрезвычайно полезной, он успел в совершенстве – в таком совершенстве, что и поныне его труды представляют неистощимый источник сведений для ознакомления с философской мыслью античного мира во всех ее направлениях и школах. Для своего же времени они были просто неоценимы: за исключением

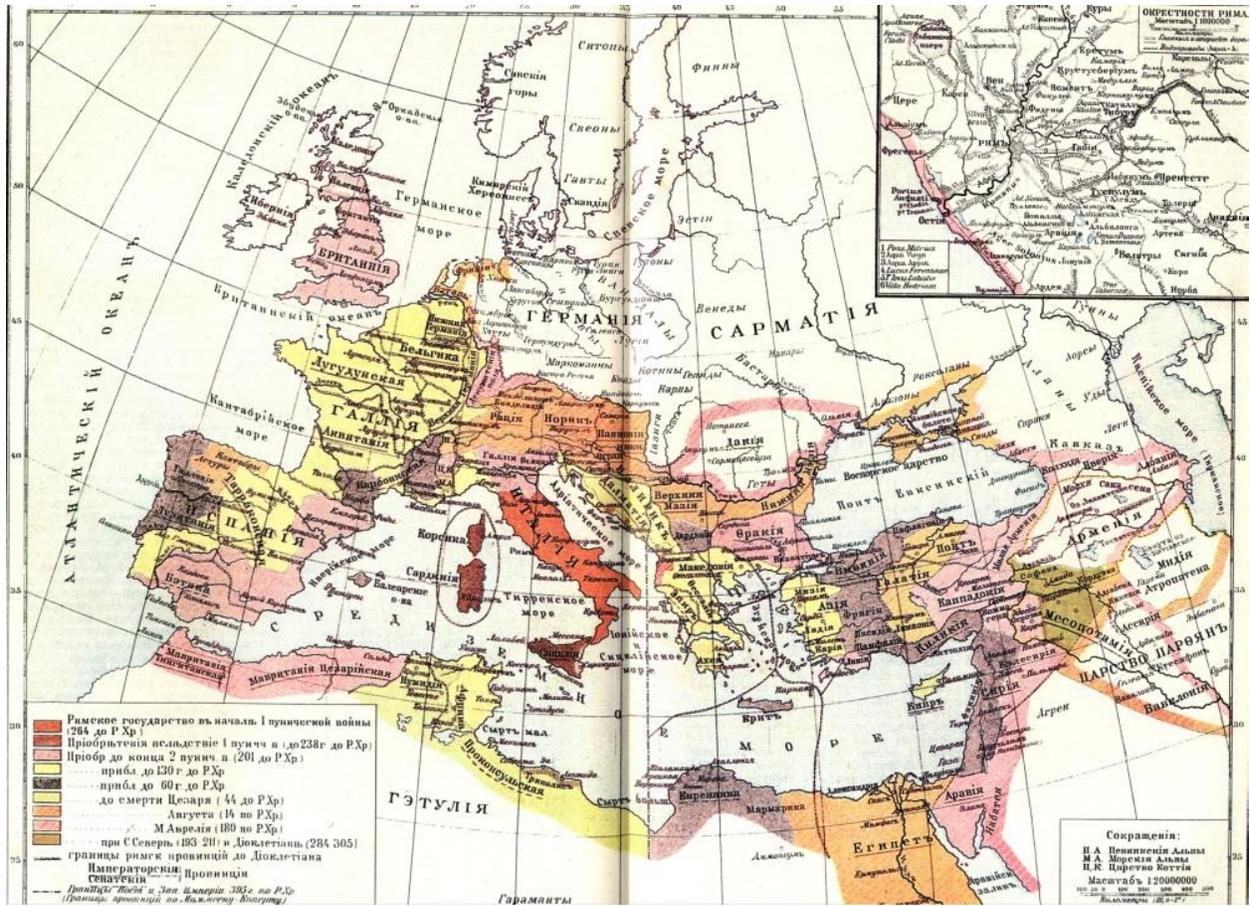
поэмы Лукреция и немногих незначительных популяризации эпикурейской системы, в римской литературе не существовало ничего, что могло бы ознакомить среднего интеллигента с проблемами философии и науки: он принужден был для этого изучать греческий язык и довольствоваться устным изложением греческих учителей. Сочинения Цицерона были первыми в своем роде, и благодаря изящной форме, легкому языку, прекрасному вкусу и необычайной живости в расположении материала они скоро стали настольными книгами для каждого образованного человека того времени. Конечно, они не свободны от недостатков, и подчас даже очень и очень крупных: мысль неглубока, знания неточны, диалогическая форма нередко безжизненна; но даже и с этими изъянами они оказали блестящую услугу науке и образованию. Не следует также забывать, что язык, которым они написаны, есть лучший образец латинской речи, какой только до нас дошел: Цицерон был истинный и, можно сказать, единственный, навеки оставшийся неподражаемым, творец латинского языка. Он обогатил лексикон и грамматику бесчисленными словами и формами, он придал языку необычайную точность, гибкость и вместе с тем энергию, и из неуклюжего, тяжелого, неповоротливого орудия, которым пользовался, например, Лукреций, он выковал тонкую, острую рапиру, которая проникала в тончайшие изгибы мысли.

Излагать содержание его сочинений, хотя бы главных, у нас нет никакой возможности за недостатком места; но мы вкратце отметим основные мысли лучшего и наиболее ценного из его трактатов – “Республика”. Написан он, как можно догадаться по названию, в подражание Платону и, хотя дошел до нас в весьма неполном виде, представляет большой интерес как изложение политико-философских взглядов того века. Основанный как на Платоне, так и на других политических мыслителях древности – Аристотеле, Полибии, Панэции – этот трактат распадается на 6 книг, из которых, однако, дошла до нас лишь треть: в первой речь идет о природе и формах государства, во второй – излагается идеализированная конституция Рима как образец совершенного государства, в третьей – трактуется о справедливости в политическом обществе; содержание четвертой и пятой нам неизвестно, а шестая содержит сон Сципиона о загробной жизни. Форма изложения диалогическая, и, хотя автор нигде не приходит к определенным выводам, все же он довольно ясно выражает свои симпатии к центральной фигуре разговоров – Сципиону. Цицерон начинает свою речь с того, что наиболее важная сторона человеческой личности и деятельности – гражданская, ибо на свете нет ничего выше и священнее политического общества, в котором

каждый из нас рождается: ему мы должны посвятить все свои помыслы и труды, оставляя для себя лично только тот досуг, который остается после выполнения своих гражданских обязанностей. “Ни в чем, – говорит он, – человеческая добродетель так близко не подходит к божественной святости, как в деле основания новых государств и служения старым”. Естественно, что тот, кто освобождает философа от занятия общественными делами, глубоко ошибается, равно как и тот, кто посвящает себя теоретическим вопросам, не имеющим ничего общего с проблемами политической жизни. Но что есть государство? Устами Сципиона Цицерон отвечает: “Государство (*res publica*) есть общее дело народа (*res populi*), но народа не в смысле случайно собравшейся толпы, а как общества, связанного единством права и пользы”. Или, как короче в другом месте: “Государство есть соучастие в праве”. Общество возникает не вследствие самонедостаточности индивида, как думал Платон, а в силу естественного духа общения, присущего людям. Они собираются в одно место, основывают города и назначают в обеспечение своего существования гражданское правительство. Оно может иметь различные типы: единоличное – монархическое, олигархическое – аристократическое, народное – демократическое и смешанное – из всех общественных элементов. Каждое из них совершенно в своем роде, если выполняет свое назначение, и несовершенно, если не выполняет его. Здесь каждое из действующих лиц диалога защищает ту или другую форму правления и указывает на ее преимущества над другими; но все они, по-видимому, согласны в том, что носителем державности должен быть народ сам: “Если закон есть связь, объединяющая воедино общество, и справедливость закона есть равенство перед ним, то каким образом общество может существовать без равенства в положениях (юридических)? Если невозможно равенство в имуществах и талантах, то пусть хоть существует равенство в правах тех, кто составляет гражданское население государства, – ибо что такое государство, как не ассоциация прав?” Переходя затем от теории к практике, Сципион, то есть Цицерон, рисует, основываясь на римской истории, картину того, как должно сложиться и расти идеальное государство. Рим был основан в устье могучей реки, дабы соединить все преимущества приморского и внутреннего городов, избегая вместе с тем недостатков каждого из них: он привлек к себе многочисленное население со всех концов света и стал важным торговым пунктом, свободный от влияния чужеземных обычаев и нравственного растления, под которое так неизбежно подпадают приморские города. Власть принадлежит царю, но цари должны избираться народом и обосновывать свои притязания не

происхождением, а личными достоинствами. Граждане разделены на классы по цензу так, что голоса не у большинства, а у людей, имеющих собственность: этим предотвращается возможность злоупотреблений, часто проистекающих из того, что наибольшее число имеет и наибольшее значение. Касаясь затем революционного восстания Люция Брута против Тарквиния Гордого, Сципион прекрасно говорит: “...хотя он и был частное лицо, но он выручил все государство из беды: *он первый научил римский народ тому, что никто не есть частный человек, когда дело касается гражданской свободы* – *primumque in hac civitate docuit, in conservanda civium libertate esse privatum neminem*”. В заключение дошедших до нас отрывков Сципион развивает учение стоиков о естественном праве как об основе и источнике гражданского и публичного права: “Истинный закон есть истинный разум, согласный с природой – всеобщий, неизменный и вечный... Этому закону не может противостоять никакой другой, и он не подлежит ни сокращению, ни отменению. Ни сенат, ни народ не могут даровать изъятие из этого всеобщего закона... Он не требует другого истолкователя, кроме нашей собственной совести. Он – один и тот же, нетленный и вечный, в Риме и в Афинах, сегодня и завтра – неизменный и всеобщий повсюду и всегда... Он – владыка всего существующего. Сам Бог – его творец, его возвеститель, его хранитель. И тот, кто этому закону не повинуется, отказывается тем от самого себя и насилует человеческую природу: его постигают жесточайшие наказания даже тогда, когда ему удается избежать всего того, что обыкновенно почитается за наказание”...

Здесь, к сожалению, обрываются дошедшие до нас три книги “Республики”. Мы не можем входить в разбор вышеизложенных взглядов; но несомненно, что большинство их дышит тем высоким сознанием гражданского долга, которое лежало в основе всего развития социального организма римской республики в лучшие периоды ее жизни. Сам Цицерон, как мы видели, далеко не всегда проводил их в жизнь, но это несколько не мешает его сочинению остаться навсегда стимулом к полезной деятельности на пользу ближнего и всего общества.



Римская империя

Италия

Источники

1. *M. Tullii Ciceronis*. Leipzig, 1860 – 1869. Rec. F. G. Baiter, G. L. Kayser.
2. *Plutarchus. Vitae. Cicero*. Paris, 1847. Ed. Didot. Rec. Th. Donner.
3. *Cassii Dionis. Rerum Romanarum liber AZ, etc.* Leipzig, 1849. Rec. J. Becker.
4. *Sallustii. Crispi de conjuratione Catilinae*. Stuttgart, 1870. Rec. F. Gerlach.
5. *W. Drumann. Geschichte Roms*. Königsberg, 1834 – 1844.
6. *Th. Mommsen. Romische Geschichte*. Berlin, 1875.
7. *R. Hirzel. Untersuchungen zu Ciceros Schriften*. Leipzig, 1882.
8. *G. Boissier. Ciceron et ses amis*. Paris, 1865.
9. *C. Thiancourt. Essai sur les traites philosophiques de Ciceron*. Paris, 1885.
10. *J. A. Deloume. Les manieurs d'argent a Rome*. Paris, 1892.
11. *G. d'Hugues. Une province romaine*. Paris, 1876.
12. *E. S. Beesley. Catiline, Clodius and Tiberius*. London, 1878.
13. *J. Gentile. Clodio e Cicerone*. Milano, 1876.
14. *Модестов. История римской литературы*. СПб., 1885.